

The background is a painting of a mountain valley. A river flows from the top center towards the bottom. The mountains are dark blue and black, with some white patches. A large, semi-transparent red butterfly-like shape is superimposed over the center of the image, with its wings spread out. The overall style is expressive and somewhat abstract.

Тубплиер

ДАВИД
МАРКИШ

ТЕКСТ

СЕРИЯ
ОТКРЫТАЯ КНИГА



Давид Маркиш

ТУБПЛИЕР

Роман

МОСКВА «ТЕКСТ» 2012

УДК 821.161.1-31
ББК 84(5Изр)
М25

Художник Т.О. Семенова

ISBN 978-5-7516-1030-2

© Д. Маркиш, 2012

© «Текст», 2012

Ворота стояли посреди забора — двустворчатые, стрельчатые. Ворота возвышались над забором на добрую голову, как боевая башня над крепостной стеной. Чугунные стрелы, пики и луки, сплетаясь, составляли ажурное полотно ворот, подбитых изнутри плотно подогнанными досками, побуревшими от дождей, а на волю глядело это черное чугунное кружево. Глухой забор, врытый в горный склон, рассекал пейзаж надвое и не позволял Владу Гордину, стоявшему перед воротами с чемоданом в руке, разглядеть, что там, внутри.

«Лета, — подумал Влад Гордин, — вот она, река Лета, маслянистая и темная, течет себе, скрытая забором от солнечного мира, и мир ничего о ней толком не знает. И этот амбал с шеей грузчика, этот жуткий тип сидит на веслах в своем челноке; шагни в калитку — угодишь к нему в лапы».

Дорога к забору вела снизу, от автобусной остановки «Самшитовая роща», и упиралась лбом в узорные ворота. Калитка была тщательно врезана в правую створку — те же пики и стрелы и доски за ними — и как будто не запиралась никак: добро, мол, пожаловать, дорогие товарищи! Влад поставил чемодан на асфальт, сел на краешек и закурил свой «Дукат» из узкой оранжевой пачечки. Затянувшись поглубже, он прощально огляделся. Горы, заросшие неведомыми кавказскими деревьями, красиво громоздились и подступали к дороге. Невидимые птицы, укрывшись в мощной зелени крон, пели на иностран-

ном языке. Пахло лесной свежестью и флоксами. Сероватый сигаретный дымок, восходя к небу, казался здесь неуместным, чужим, но Влад не спешил гасить сигарету. Сидя на чемодане против ворот и калитки ворот, он вообще никуда не спешил. Он пришел, дорога привела его на Кавказ — красивый, ароматный, винно-шашлычный.

Эта дорога началась неделей раньше, в Москве.

В Москве было зябко, сыро. Хрупкий хребет весны еще не окреп и не заостенел, едкая пыль лета еще не коснулась только-только выползших из чрева почек новорожденных клейких листьев. Кое-где, в тени, сохранился ноздреватый темный снег, и зимняя жизнь уходила из него вместе с талой весенней водой. Зима сломалась, морозец огрызался по ночам.

В жидкой очереди к окошечку военкомата перед Владом молча переминалась с ноги на ногу тройка молодых людей с озабоченными лицами — в военкомат по своей воле не идут, это понятно. От нечего делать Влад разглядывал мающихся ребят перед собой, лениво гадал, что за напасть их привела сюда, в этот обшарпанный предбанник с портретом Хрущева на стене. Сам Влад со своим «розовым билетом» в кармане не испытывал здесь беспокойства: в мирное время в армию он не призывался, в военное — в предвиденном случае нападения на Советский Союз коварных капиталистических врагов — должен был вступить в борьбу в качестве рядового необученного.

Такое мудрое решение вынесла четыре года назад призывная медицинская комиссия, и Влад Гордин был совершенно им доволен. Нельзя сказать, что оно тогда слетело с небес само по себе, как жар-птица. Нет-нет, Влад птичку эту на медкомиссии старательно подманивал и беззвучно выкликал. Он не хватал со стола пузырек с чернилами и не выливал его содержимое себе в рот, не размазывал канцелярский клей по голове: косить под психа было делом поверхностным и бесперспективным. Он пошел другим путем. Ненавязчиво пожаловавшись на неотпускающую головную боль и резь в глазах, он был посажен на высокий табурет и, сосредоточенно следуя

взглядом за пальцем старика глазника в белой шапке, сжал волю в кулак и принялся, подобно коту, расширять и сжимать зрачки. Он знал за собой это цирковое умение, гордился им — его приятели в лучшем случае двигали ушами, да и то с большим трудом — и рассчитывал, что именно оно принесет ему освобождение от службы в Вооруженных силах. Глазник отметил усилия Влада Гордина, сказал «гм!» и спросил, давно ли у него это. Влад ответил, что давно. Потом другие врачи вслушивались в ход внутренней жизни Влада через стетоскоп, велели присесть, проверяли слух и давление крови, колотили молоточком по колену. Влад подчинялся с готовностью: зрачки, похоже, сработали, дело было в шляпе. В результате допризывника Гордина направили на дополнительное обследование в стационар. И это тоже было здорово.

В больнице Влада Гордина, раздев до пояса, уложили на железный стол, над которым с неприятным скрежетом бегала, как игрушечный паровозик по рельсам, какая-то штуковина. Влад не сводил глаз с этой штуки и прилежно работал зрачками. Он знал, что от его усердия зависит, забреют его на три года в армию или не забреют, и старался вовсю. Через три недели его вызвали в военкомат, вручили «розовый билет» и без лишних слов отпустили на все четыре стороны.

Теперь, стоя в очереди перед окошечком военкомата, Влад Гордин даже не вспоминал ту историю четырехлетней давности: было, прошло. Вот сейчас он получит от военных конверт, а в том конверте — билет на самолет, и завтра улетит на Камчатку. Армия платит за билет, и на том спасибо. И это как бы аванс: будет война — отправят рядового необученного Гордина в какую-нибудь фронтową газету писать репортажи. Впрочем, Влад был уверен в том, что аванс ему не придется отрабатывать: если американцы долбанут своими атомными бомбами, тут уже будет не до репортажей. Какая там война, честное слово! А Камчатку хотелось посмотреть.

— Гордин, — протягивая военный билет в окошечко, сказал Влад. — Владислав Самойлович. — И, наклонившись, заглянул.

В окошечке сидел пожилой лейтенант, на столе рядом с его локтем лежали пачка «Беломора» и спичечный коробок.

— По какому делу? — нелюбезно спросил лейтенант.

— Я из Союза писателей, — изогнувшись в поясе, пустился в необходимые разъяснения Влад. — Комиссия по военной литературе. Тут у вас билет для меня должен лежать на завтра, я лечу на Камчатку.

— На Камчатку? — переспросил зачем-то лейтенант. — Ждите! — И свое окошечко захлопнул фанерной шторкой.

Ждать пришлось недолго. Из обшитой железным листом двери, ведущей внутрь помещения, выглянул поджарый щуплый майор со свинцовыми глазами и помавил Влада Гордина. Шагнув за порог, Влад очутился в тесной комнате с зарешеченным окном. Стены комнаты были выкрашены в блеклый зеленый цвет, торцом к окну, к решетке, стоял конторский стол под зеленой скатертью в обязательных чернильных пятнах. Крепкий стул был сиротливо отодвинут. Со стены сыто и хитро глядел Хрущев. Майор по-строевому пробухал сапогами по полу, придвинул стул к столу и прямоугольно уселся. В руках у него оказался военный билет Влада, офицер листал книжицу, мусоля страницы.

— Гордон? — целясь во Влада из двух своих свинцовых стволов, вдруг заорал майор.

— Гордин, — твердо поправил Влад. — И вы...

— А что ж ты тогда живой? — не обратив внимания на поправку, продолжал бушевать майор. — А? Отвечай!

— То есть как?... — удивился Влад, почти не веря ушам.

— А так! — орал майор. — Мы тебя уже, считай, спасли! Ты повестки наши получал?

— Не получал, — соврал Влад. Повестки он получал и, не распечатывая, выкидывал их в мусорное ведро: чего сюда ходить, в военкомат, если мир на дворе.

— Мы думали, ты сгнил уже от своего туберкулеза! — Майор с маху шмякнул ладошкой по столу. — Ты у меня под суд пойдешь!

— Какой туберкулез? — злясь, спросил Влад Гордин. — И не орите на меня!

— А это что? — тыча военным билетом, спросил майор. — Ну, что?

— Где? — сердито потребовал уточнения Влад.

— Вот! — Мутный ноготь майора впился в строчку на открытой страничке билета.

— Тут цифры какие-то, — сказал Влад. — Тире.

— Туберкулез это! — снова заорал майор. — А ты что, хочешь, чтоб мы тебе стихами, что ли, про это писали?

— Нет у меня никакого туберкулеза, — примирительно улыбаясь, сказал Влад. — Ошибка это. — Он искал, на что бы сесть, но второго стула не было в комнате.

— Ты дурака давай не валяй, — не принял примирения майор. — Ты медкомиссию проходил?

— Проходил, — кивнул Влад Гордин. — У меня по глазам негодность, там должно быть написано. — И указал на военный билет в руке майора.

Майор полистал, поискал. Не нашел.

— Нету, — сказал майор и поглядел на Влада Гордина ужасно, как будто это он, Влад, только что взял и украл из документа важную государственную запись.

— Я-то тут при чем? — Влад пожал плечами. — Мне завтра на Камчатку лететь, я за билетами пришел.

— Ну, так... — подумав, решил майор. — Ты мне справку принеси.

— Какую справку? — спросил Влад.

— Из районного тубдиспансера, — объяснил майор. — Что ты у них на учете не состоишь. Ты в каком районе проживаешь?

— В Советском, — сказал Влад Гордин.

— Вот оттуда и неси, — подвел черту майор.

Найти туберкулезный диспансер в кривом переулке за Большой Грузинской, за Зоопарком, было непростым делом. Учреждение со страшным названием, пугающим добрых людей, как гадюка в траве, словно бы продуманно запрятали подальше от оживленных улиц, в тупике глухого двора за хулиганской подворотней.

Сойдя с трамвая, Влад зашагал на легких ногах, выходящая названия переулков. Расспрашивать редких встречных, где тут туберкулезный дом, ему и в голову не приходило: это было бы ничуть не лучше, чем наводить у прохожих справки о кожно-венерологическом диспансере с его сифилисом или в лучшем случае заразной матросской чесухой. Адрес есть, нечего и спрашивать. До конца рабочего дня оставалось еще часа два, Влад рассчитывал получить справку и вернуться в военкомат, к майору, до закрытия. Не переносить же, в конце концов, завтрашний отъезд! Главное, не подхватить тут какую-нибудь заразу. А как? Дышать только носом или, наоборот, ртом? И ни к чему не прикасаться руками, вот это точно. Проклятый майор, ну и устроил развлечение! Там, наверно, очередь в этом проклятом диспансере, пока постоишь, нахватаешься палок по самую кепку. Палки Коха в колесе. Пошлятина какая!

Сырой двор перед туберкулезным диспансером был пуст, как ночное поле. Натянув рукав плаща на ладонь, Влад Гордин взялся за ручку двери.

В просторном помещении было пусто, только девушка в белом халате, сидевшая за регистрационной стойкой, взглянула на вошедшего Влада Гордина без всякого интереса. По-больничному белая комната пахла то ли хлоркой, то ли какой-то карболкой. За спиной девушки, на полках, тесно стояли в ряд папки противного фекального цвета, с тесемками.

— Я к вам, — подойдя к стойке, сказал Влад. — Мне справку надо, что я тут не состою на учете. — Он хотел как можно скорей покончить с этим делом и выйти на свежий воздух. — Дадите? — Он старался дышать пореже.

— Направление у вас есть? — спросила девушка.

— Нет никакого направления, — ответил Влад. — Меня из военкомата прислали.

— Пятый кабинет, — сказала девушка. — Только бланочек вот этот заполните.

— Не надо мне ни в какой кабинет, — сердито отозвался Влад Гордин. — Я в командировку лечу. Дайте справку, что меня в этих ваших папках нет — и все.

— Вы нам тут свои правила не заводите, — ровным голосом сказала девушка. — Идите на рентген, пока никого нет.

В пятом кабинете было сумрачно, как в фотолаборатории. Едва различимый в полутьме врач сидел за маленьким столиком спиной к двери.

— Раздевайтесь до пояса, — не оборачиваясь к Владу, велел врач. — Вот сюда вставайте, вдохните глубоко... Не дышите... Готово. Подождите за дверью.

Сидя на деревянной скамейке, Влад подавленно рассуждал о том, что с этим врачом все равно не имело смысла ни о чем говорить: не рассказывать же ему о поездке на Камчатку! Он делает свое дело: снимает, проявляет. Сейчас закончится вся эта дурацкая история.

Врач выглянул, приотворив дверь, и Влад наконец увидел его лицо — добродушное, круглое, в круглых очках. Врачу было лет под шестьдесят.

— Идите сюда, молодой человек, — гостеприимно позвал врач. — Еще один снимочек.

Теперь Владу было указано лечь на высокий железный стол на спину. Влад ошупью улегся. Симпатичный врач бормотал что-то себе под нос. Над головой Влада знакомо заскрежетало, как будто поехал по игрушечным рельсам игрушечный поезд. Остановился и еще раз поехал. И еще.

— Все! — сказал врач. — Можете вставать. Подождите в коридоре.

Ждать пришлось дольше, чем в первый раз. В приемной появилось несколько человек: старик, мальчишка с велосипедным насосом, женщина с ребенком. Старик подсел к Владу Гордину, спросил, указывая на дверь рентгеновского кабинета:

— Там есть кто-нибудь?

Влад не хотел, чтобы симпатичному врачу мешали и отрывали его от дела, и он сказал старику со знанием предмета как сведущий человек:

— Ждите, вас вызовут.

Нельзя было мешать врачу, колдующему над его, Влада, снимками. Врач сейчас пишет приговор, оправдательный приговор, и никто не должен его отвлекать. Но этот

гремящий знакомый стол — как он вообще сюда попал? Глаза он проверяет — или что? Или душу просвечивает? Четыре года назад он помог, еще как помог, и сегодня тоже поможет.

Круглолицый врач выглянул, поманил, шевеля согнутым пальцем:

— Заходите!

Кабинет освещал теперь свет матового экрана, к которому были пришпилены в два ряда лоснящиеся рентгеновские снимки. В полутьме комнаты, набитой железными углами, врач двигался легко и уверенно. Он почти порхал, как летучая мышь.

— Это хорошо, что вы пришли к нам именно сейчас. — Врач подтолкнул Влада Гордина к экрану. — У вас вспышка. Вот смотрите...

Вспышка. Какая вспышка? Где? Что вообще означает это красивое слово в темном рентгеновском кабинете туберкулезного диспансера? Вспышка чего? Ненависти? Страх? Любви? Или может, смерти? «Вспышка смерти» — убедительно звучит. Но при чем тут он, Влад Гордин? И уже наплывала уверенность, что — при чем.

— Видите? — увлеченно продолжал симпатичный врач. — Это томограмма вашего левого легкого, верхушки. Смотрите вот сюда!

На подсвеченной пленке вырисовывалась картина облачного неба, звездных туманностей. Левое легкое.

— Вот этот шарик, — продолжал врач, — туберкулома. Граната, начиненная туберкулезными палочками. При неблагоприятных обстоятельствах она взрывается и обсеменяет легкое сверху донизу. И... — И, разведя руками, врач улыбнулся беззащитно и печально.

— Я понимаю, — промямлил Влад. — А что ж вы, доктор, не боитесь от меня заразиться?

— Ваша граната запечатана, обызвествлена, — охотно объяснил доктор. — У вас закрытая форма туберкулеза. Наша и ваша задача не допустить развития процесса, не дать гранате взорваться.

— Что я должен теперь делать? — выдавил Влад Гордин.

— Для начала отдыхать не тогда, когда устали, — сказал врач, — а для того, чтобы не устать. И максимум через неделю вы поедете в туберкулезный санаторий, на Кавказ. Приходите завтра оформлять документы.

Значит, не на Камчатку, а на Кавказ. Судьба играет человеком, а человек играет в подкидного дурака.

Машинально кивнув девушке за регистрационной стойкой, Влад толкнул дверь диспансера и вышел на волю. Смеркалось.

2

Узорчатые ворота на дощатой подкладке отгораживали от града и мира туберкулезный легочный санаторий: мужской и женский лечебные корпуса, подсобные службы и обширный парк с разбросанными по нему там и сям узкими деревянными лавочками, заросший по окраинам бурьяном, с выкрашенной серебряной краской спортивной пионеркой посреди центральной клумбы. Докурив сигарету, Влад Гордин поднялся с чемодана, подхватил его за ручку и шагнул в калитку ворот.

Он не удивился бы, если б за воротами стоял охранник с ружьем. Но не было охранника, и никого не интересовало, зачем Влад Гордин прибыл на Кавказ. Как видно, сюда, за забор туберкулезного санатория, никто не заглядывал по собственной воле, без острой нужды. Со своим чемоданом Влад шагал по пустынному парку, по посыпанной кирпичной красной крошкой дорожке, довольно-таки узкой, пешеходной, предназначенной соединять пункт «А» с пунктом «Б» и не более того. Трудно было вообразить, как по этой дорожке болтаются от нечего делать загоревшие под курортным кавказским солнцем отдыхающие, как сосредоточенные парни обжимают девок на лавочках и тянут их в кусты, подальше от чужих глаз. Есть здесь, надо думать, и другие ворота, и другая дорога, асфальтированная, по которой едут служебные машины — с картошкой и капустой для кухни, с какими-нибудь, наверно, лекарствами, и эти, самые главные, с

заскоружными носилками вдоль закрытого темного кузова. Какого, интересно знать, они цвета — труповозки? Черные, как заведено? Или под «скорую помощь» — белые, с красным крестом? И где тут морг, откуда они забирают свою клиентуру?

Где тут морг? — этот вопрос глубоко сидел в сознании Влада Гордина, как гвоздь в дубовой доске. Морг, разумеется, должен быть, а как же иначе. Какой-нибудь домик на окраине парка, в зарослях, или просто пристроечка к одному из корпусов. Тянуло не откладывая поглядеть на это сооружение, мимо которого все равно теперь уже не пройти. Все дороги ведут в дуборезку. Главное сооружение, главная машина. Все остальные машины, везут они картошку или таблетки, — только довесок. Но не пойдешь же спрашивать у первого встречного, где тут морг, да и встречных этих что-то не видать. Может, спят? Или обход у них? Пустынный парк напоминал Владу почему-то фабричный двор: работяги заняты делом, вкалывают у станков в своих цехах, а снаружи нет никого до самой пересменки.

Кирпичная дорожка привела Влада Гордина к главному корпусу — вытянутому в длину трехэтажному зданию с фальшивыми колоннами по сторонам парадного подъезда. У двери сидела на стульчике какая-то тетка в цветастом фланелевом халате и вязала на спицах.

— Сюда? — спросил Влад Гордин.

— Сюда, сюда, — взглянув на чемодан в руке Влада, сказала тетка, а потом вернулась к вязанию.

Значит, сюда. Пора входить.

Просторный вестибюль был забит под самую завязку: люди стояли тесно, кучно. Под портретом Ленина помещался стол, на столе белел графин мутного стекла с водой. За столом, опираясь о него рукою, высился скалой крупный мужчина кавказской внешности, с усами, и читал по бумажке.

— «В редакцию газеты “Правда”, — читал кавказец. — Больные противотуберкулезного санатория номер три, собравшиеся под целебным кавказским небом со всех

концов нашей необъятной социалистической Родины, поздравляют Центральный комитет нашей родной Коммунистической партии со всемирно историческим достижением — запуском в космос советского человека Юрия Гагарина. Со снежных вершин дружного многонационального Кавказа мы заверяем ЦК КПСС и лично товарища Хрущева, что и впредь будем отдавать все силы, а если потребуется, и жизнь для победы коммунизма во всем мире. Да здравствует Коммунистическая партия и ее ленинский Центральный комитет! От имени коллектива — директор санатория номер три Бубуев Реваз Ибрагимович». — Закончив читать, директор сложил бумажку и сунул ее в карман пиджака. — Вопросы будут?

Вопросов не было. Больные били в ладоши и оглядывались на дверь. Ощущение, что где-то над головой в целебном небе летает Гагарин без мотора, было необычным.

— Запустили, значит? — наклонившись к уху старичка в полосатой пижаме, спросил Влад Гордин.

— А кто его знает! — пожав плечами, отозвался старичок. — Реваз совет — много не возьмет. Может, запустили, а может, и не запустили.

— Ну, это ж не шутки! — сказал Влад. — Тут соврешь, а потом всю жизнь будешь расхлебывать. И с работы снимут.

— Кошку, может, запустили, — гнул свое недоверчивый старичок. — Собаку ведь запускали уже. А теперь кошку. И Героя дадут.

— Кому? — спросил Влад. — Кошке, что ли?

— Ну, кошке, — ответил старичок. — Кому надо, тому и дадут. А ты-то чего переживаешь?

— Да я только приехал, не слыхал еще, — поделился Влад.

— У нас стрептомицина нету, а он летает, — горько сказал старичок. — И мясо все воруют.

— Какое мясо? — поинтересовался Влад Гордин.

— Такое, — объяснил старичок. — Которое на второе. А нам кашу одну дают на машинном масле.

Народ понемногу потянулся к выходу, там образовалась пробка. Влад Гордин, отойдя к стеночке, наблюдал

идуших: что за люди? С кем ему теперь придется жить здесь, за забором, на горе? Как в каком-то Монако: вот князь Реваз Бубуев, вот монакцы, трудолюбивый монакский народ. Граница, правда, не на замке, но определена и очерчена. И в картишки тут, наверно, перекидываются — чем не казино? Люди как люди, народ как народ: маленький, но гордый, только без детей. Стариков немного, зато средний дееспособный возраст представлен хорошо и молодежь замечательная; чувихи проблескивают — просто первый класс. Ну второй. Вон та, например рыжая, или эта молочная блондиночка с золотым зубом. Лечебный воздух, каша-перловка, сухой закон. Впрочем, закон на то и закон, чтоб его объезжать на хромой козе: вон тот страдалец не от дырки в легком такой квелый, а от вчерашнего перебора, ему поднеси кружку пива — он сразу оживет. В конце концов, в каждом народе должны быть свои жулики, гулящие девушки, отзывчивые пьяницы и даже утрюмые убийцы. И конечно, общительные стукачи — куда ж без них. И герб должен быть у туберкулезного народа: на лазоревом фоне перекрещенные, наподобие берцовых костей, серебряные палочки Коха. А что? Суверенная территория есть, начальство есть, оппозиция — на уровне старичка в пижамных штанах: каша плохая, надо маслица подлить. Армия с пушками не нужна, потому что чахоточные граждане и так внушают смертельный страх и ужас окружающим миролюбивым народам: чеченцам, лакцам и кабардинцам с балкарцами.

Вестибюль опустел. Последним, волоча свой чемодан, вышел на волю Влад Гордин. Тетка с вязаньем попрежнему сидела на своем стульчике у дверей.

— Ну как? — спросил Влад Гордин. — Летит? — И, прищурившись, задрал голову вверх, к небу.

Пошелкивая спицами, поглядела в небеса и тетка. Там было пусто, сине и прохладно.

— Летит, летит, — согласилась тетка. — Кто летит-то?

— Гагарин, — сказал Влад. — Человек такой. Это же праздник!

— На праздник яйца дают на завтрак, — усомнилась тетка. — А куда он летит-то?

— Вокруг Земли, — дал справку Влад Гордин. — По кругу. — И указательным пальцем очертил кольцевой маршрут космонавта.

— Ну что ж, — сказала тетка. — Пускай летит. У нас тут редко кто летает, гляди, какие горы. Расшибешься, потом костей не соберешь.

— Понятно, — отозвался Влад. — А где у вас тут оформляются? Я больной.

— Тут все, сынок, больные, — вздохнула тетка. — Здоровые на турбазе живут... Иди в красный уголок, со двора. Там на дверке написано.

Влад Гордин обогнул корпус и толкнул дверку с надписью на стеклянной синей дощечке: «Красный уголок». Неожиданно просторная комната в три окна была пуста, стул с подушечкой для сиденья отодвинут наискосок от мощного стола. Со стены, из рамки, из зарослей бороды обиженно и строго паялился Карл Маркс. На другой стене висела стенгазета «Путь к здоровью»; под названием, выписанным плакатным пером, чернело убедительное требование: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Были тут и застекленный шкафчик с какими-то папками, и тумбочка с обязательной электроплиткой и эмалированным чайником на ней. Влад огляделся и поставил свой чемодан посреди комнаты на пол. Никого нет — и не надо: придут, никуда не денутся. Вообще-то, должен тут кто-нибудь сидеть, раз красный уголок, но, может, у них свои порядки, да и спешить теперь уже некуда. А дверь просто забыли запереть, и красть здесь ничего не украдешь, кроме основоположника марксизма. Влад подергал дверцу шкафчика с папками — заперто. Враг не дремлет, может все секреты прочитать про санаторий № 3. А вот стенгазету читайте на здоровье.

Читать было интересно. Заложив руки за спину, Влад Гордин читал, покачиваясь, как еврей на молитве. Директор Бубуев в передовице медицинскую тему обходил стороной, нажимая на дисциплину и недостойные советского человека поступки. «Значит, поступки совершают, — решил Влад. — Хорошо». Главврач Пантелева Л. И. в мажорных тонах обещала обеспечить всех нуж-

дающихся карманными плёвками и приводила процентные данные выздоравливаемости. «Врет, — подумал Влад. — Какая еще выздоравливаемость! Тут бы концы не отдать». Зато стихи неведомого покамест мировой культуре Анатолия Митюшкина привели его в игривое настроение.

«Хоть я и не против ласк, —
писал Анатолий,

Для меня важнее паск.
У кого чего болит,
Тот глотает фтивазит».

«Как видно, попался на горячем, — предположил Влад Гордин. — Кается. Ну и ну».

За спиной слышались легкие шаги — цок-цок-цок! — и Влад обернулся. Посреди комнаты расцвела молодая женщина в туфлях на босу ногу, в летящем крепдешиновом платье, синем, в цветах и птицах, с высоко открытыми руками. Глядя на нее, можно было предположить с высокой долей уверенности, что она не глотает фтивазит, а паску предпочитает кое-что иное.

— А я смотрю, — с улыбкой на смуглом от горного загара лице сказала женщина, — у нас дверь открыта... Вы новенький? — И, переходя к делу, приглушила улыбку.

— Ну да, — сказал Влад и протянул направление с печатью. — Только что приехал.

— Нас директор собрал, — присев к столу и просматривая направление, объяснила женщина, — по поводу полета Гагарина. Это же такое событие! Представляете, летит вот прямо сейчас... Паспорточек ваш давайте и справочку из диспансера.

Это жуткое остроугольное слово — дис-пан-сер — промелькнуло меж ее губами как ядовитая пуля. Протянув спрошенное, Влад разглядывал распавшиеся на два пласта медовые волосы склонившейся над столом женщины, ее старательно сдвинутые к переносице, какие-то бесстыдные темные брови над выпуклыми ореховыми глазами. Красивая девка, ничего не скажешь.

— А вас как звать? — спросил Влад.

— Регина, — записывая в затрепанную тетрадь, представилась женщина. — Но это, вообще-то, не важно... А вы кто по профессии? Инженер? Мы тут отмечаем. — Она тукнула самопиской по своей тетради.

— Какой там инженер! — сказал Влад. — Журналист я... Почему это вы решили?

— Журналист! — обрадовалась Регина. — У нас тут кто хотите — инженеры, учителя, офицеры есть, ну, всякие-разные, а журналист вы будете первый. Билетик можно посмотреть?

— Какой билетик? — спросил Влад.

— Ну, этот... — Регина вдруг немного смутилась, словно бы оступилась на легком ходу. — Членский. Что вы член журналистов.

— Ах, этот! — ухмыльнулся Влад Гордин. — Да ради Бога. А мне что, дополнительная каша полагается как журналисту?

— Доппитание не полагается, — объяснила Регина, — а полагается спецразмещение. Член журналистов у нас проходит как инструктор райкома партии и размещается в двухместной палате.

— А если не член? — покосился Влад.

— Тогда в восьмиместной, — сказала Регина. — А вас мы поселим в двухместной палаточке с одним еще товарищем с Кубы, в женском корпусе.

— Это почему? — подивился Влад Гордин.

— У нас только в женском двухместные, — ответила Регина. — А кубинец этот культурный, так что получится настоящая дружба народов.

— Дружба народов — это если б там была кубинка, — пробормотал Влад.

Регина расслышала, понимающе улыбнулась:

— Так что лечитесь на здоровье. Может, в стенгазете поучаствуете, напишете заметочку какую-нибудь? Про борьбу с недугом или вот даже про Гагарина.

— А как насчет поминок? — спросил Влад Гордин.

— Каких поминок? — переспросила Регина.

— Таких... — сказал Влад. — Морг, я говорю, где тут у вас?

— Морг? — снова переспросила Регина. — А у нас морга нету, морг при больнице, во Втором. — И добавила не без гордости: — У нас же здесь закрытые формы. Если у кого открывается, то мы тогда уже переводим во Второй санаторий. Тут недалеко.

— Ну, раз недалеко, — протянул Вадим, — то конечно... — Ему вдруг стало легко, словно бы гора свалилась с плеч: нет тут морга.

3

Всё тут, в сущности, было недалеко: кованые скалы Гуньба и ореховые леса Чечни, серебряный с чернью Кубачи, абрикосовый Хасавюрт и Гоцатль с его порожними, в память о сгинувших на чужбине и не вернувшихся в отчизну храбрецах могилами. «Гоцатль — звучит как лязг капкана»... До всего тут рукой подать, всё рядом. Кавказ не Сибирь, Кавказ — изумрудная заплатка на дырявом рубище империи.

Влад Гордин, любопытный человек, и раньше тут бывал, на горном Кавказе, отсюда неподалеку. А сведущие люди знают: от этой Самшитовой рощи пойдешь через горы, через перевал Сарбек — на четвертый день спустишься к морю, к игрушечному городу Сухуми. Не доходя Сарбека, по правой руке, вправлены в пологую долину ледяные Джуйские озера. Три воды — три цвета: светло-зеленый, охряной и прозрачно-синий, как сумерки в горах. А если держаться от этой Рощи западного направления и ехать тропами, не сходить с седла, на третье, пожалуй, утро доберешься до урочища Габдано.

В позапрошлом году Влад въезжал в Габдано с севера: прилетел в Махачкалу, добрался машиной до Кара-Юрта, а там пересел на лошадь. Тропа забирала вверх, конские подковы скребли о камень. Лесные чаши остались внизу, но горы еще сплошь зеленели невысокой чистой травкой, и старые деревья тут и там чинно и уверенно, как уважаемые старики, возвышались над землей урочища. Каждое дерево имело свое лицо под мохнатой

зеленой шапкой, и каждому из них хотелось дать имя или красивое прозвище: Шамиль, Хаджи-Мурат или Абрек, Хаджи.

Перед Владом ехал на рыжей кобылке славный парень Адалло — институтский сокурсник, уроженец этих мест. Кобылка под Адалло потряхивала хвостом, пофыркивала — чуяла близкий аул. В том ауле в глухой тайне хранились под бдительным присмотром избранных людей полтора десятка древних книг, среди них рукопись Авиценны. Целый век они там хранились, под саклей, в каком-то секретном подвале и, по словам Адалло, надежно защищали — «Люди верят! Пусть верят!» — аул от многих неприятностей жизни: градобоя, мора. А Владу казалось, что не каких-то сто лет они там лежат, в каменном подземелье, а лежат они там Время, которое никакими годами не измерить. Верил ли сам Адалло в такое счастье родных мест, трудно было сказать определенно: скорее верил, чем не верил. Он и рассказал-то Владу эту историю за пьяным столом и как будто уже и жалел, что рассказал: взял с него обещание никому об этих книгах не заикаться, держать тайну при себе, а потом пояснил, что это дело мусульманское и что, если иноверец докопается до этих книг, они утратят свою силу и аул останется беззащитным посреди ужасного мира. Влад тогда же решил не откладывая ехать искать Авиценну — уговорить Адалло и ехать в Габдано. Спаси Бог, он не собирался темной ночью, крадучись, выносить книги из подвала, прятать за пазуху и бежать с ними куда глаза глядят. Он лишь хотел, хотел неодолимо, уложить том на колени, и, осязая прохладную кожу переплета, открыть рукопись великого медика, и разглядывать красивые буквы, и листать еще другую книгу, математическую, с картами звездного, по словам Адалло, неба, в котором Влад решительно ничего не смыслил. Вот так с ним иногда случалось: он видел девушку мельком на улице, в троллейбусе, он хотел ее, как говорится, с первого взгляда — неостановимо и безоглядно, всеми своими жилочками и прожилочками, он шел за ней следом, преследовал ее — и либо в конце концов сводил с

ней знакомство, либо получал от ворот поворот. Сейчас, наверно, по такому случаю сказали бы: запал на кого-то. Может, так бы подумали и сказали.

Надо заметить, что местные борцы с религиозным дурманом не раз пытались священные книги изъять и отправить их в Москву для научного изучения. Начальники из райкома партии наезжали в аул в командировку и действовали там и мытьем, и катаньем: пугали аульчан, сулили награду за наводку, рассказывали, как в городе Самарканде вырыли из земли знаменитого полководца Тимура, голову ему оторвали и отправили в Москву в специальном ящике, а там уже сделали чугунный портрет к всеобщей пользе: Тимур теперь как живой, каждый может посмотреть и даже купить фотографию. Доводы уговорщиков на аульчан не действовали, они только пожимали плечами и смачно сплевывали на камни своей родины. Райкомовцы несолоно хлебавши возвращались в свой райцентр, а книги оставались лежать в тайнике.

— Неужели советская власть так и не дотянулась? — с радостным недоверием спрашивал Влад Гордин у Адалло.

— Для этого надо весь аул танками разутюжить, — со знанием дела отвечал Адалло. — И то еще не известно, найдут или нет.

— Вот это да! — радовался Влад Гордин, как будто это он сам завалил вход в книгохранилище каменной плитой, а потом выбрался наружу и поджег вражий танк из гранатомета. — Вот это по-нашему!

Но самое главное — книги действительно были. Они появились здесь сто с небольшим лет назад, без шума и без базара, и с той поры вредоносный град объезжал стороной урочище Габдано и мор проползал мимо на своем змеином брюхе. Впрочем, и раньше, до книг, град, в отличие от мора, бил сады и посевы только в соседних урочищах, а сюда не догромыхивал: микроклимат, как видно, мешал. Но ведь мог бы когда-нибудь догромыхать! А теперь была твердая вера: пройдет стороной...

Книги привез в курджунах ученый аульчанин по имени хаджи Джабраил. Вез он их со многими опасностями,

привез и, умирая внезапной смертью, завещал никогда их отсюда не выносить — никуда и ни при каких обстоятельствах. Это было важно, это был приказ, обязательный к исполнению: такие люди, как хаджи Джабраил, предсмертными сохнувшими губами слов на ветер не бросают.

А все началось лет за пятнадцать до этой смерти здесь же, в Габдано. Чернобородый тогда Джабраил собрался в хадж, поклониться святым местам Мекки и Медины. Путь в арабские пределы предстоял долгий и небезопасный. Конь под путником шел сильный, в курджунах уложен был съестной припас — лепешки, вяленая баранина, лучок — и длинный кинжал, а скорее того, короткий меч в черных кожаных ножнах с серебром, свешивался с поясного ремешка. Серебряные накладки на черном фоне выглядели красиво и строго. Можно резать таким кинжалом, но удобно и рубить.

Долго ли, коротко ли, но прибыл упорный Джабраил в город Каир, присоединился там к мусульманским паломникам, добрался с ними до урюмого синайского селения А-Тур и оттуда, переплыв море на шаткой барке, высадился в аравийских песках, помнивших легкую походку пророка Магомета.

Он был склонен к усидчивым занятиям, этот Джабраил из Габдано, надо отдать ему должное, и по завершении полного круга молитвенных процедур, очищенный и просветленный, задержался надолго в ученой Медине. Библиотека этого священного города пленила его своим блистательным богатством. Он принялся за чтение, он не отрывался от книг. Его радение и вдумчивость были отмечены, и спустя время — припасенные деньги были уже проедены до самого дна кошелька — он был принят на библиотечную службу. И покатались годы, сталкиваясь, как каменные шары.

А в Габдано, вдали от отцовских глаз, росла Джабраилова дочь Патимат, красавица: гибкий стан, орлиный нос под черными бровями вразлет. Была там и жена книгочея, сидела в углу сакли, где посуше. Уже и тогда ученый Джабраил, надзиравший за книгами в самой Ме-

дине, числился в Габдано знатным земляком: никогда еще ни один местный горный уроженец не забирался так заоблачно высоко.

И катились годы.

На исходе пятнадцатого, по исламскому календарю, года поседевший Джабраил решил вернуться на свою каменную родину. Храбрец не задумывается над последствиями, и только трус таскает в кармане весы — прикидывать и ломать голову, что лучше, а что хуже... Решено — исполнено: безлунной ночью, уложив в курджун полтора десятка любимых книг и прицепив к поясу кинжал, похожий на меч, Джабраил сел в седло и рысью тронулся в путь. Дорога послушно ложилась под копыта коня, тьма — подруга бедовых людей — способствовала замыслу книголюба. Вооруженная погоня на беговых верблюдах была выслана за дерзким книжным вором, но Джабраил успешно ушел от преследователей, как — прости, Господи! — евреи по Красному морю от наседавших на них египтян.

К весне северный ветер принес запахи Кавказа. «Я разглядел кипенье персиков в садах цветущих Дагестана, — выпрямляясь в седле, бубнил под нос взволнованный Джабраил. — Гоцатль — звучит как лязг капкана. Я сам к камням могил приник»... До Габдано было рукой подать. По ночам, с головой укрывшись буркой и положив ладонь на рукоять кинжала, Джабраил видел во сне свою саклю и скрежетал зубами от радостного нетерпения.

Наконец появился аул в горловине урочища. Крыши саклей взбегали вверх серебристой каменной лестницей. Над въездом в аул, на длинной палке, бился на ветру черный флаг несчастья.

— Кто ты и куда идешь? — окликнули путника из сторожевой башни.

— Я Джабраил, — сердито ответил всадник. — Возвращаюсь из хаджа домой. Ты что, сам не видишь?

— У нас чума, — оповестили из башни. — Никто отсюда не уходит, и никто сюда не приходит: нельзя. Разбей палатку, где стоишь, дорогой Джабраил, и жди, пока

болезнь околеет или пока все мы тут околеем. Храни тебя Аллах!

— Вас тоже, — сказал Джабраил. — Передайте Патимат, что я приехал. — И принялся ставить палатку, где стоял.

— Вот здесь это было, вот здесь! — с седла указывал рукою Адалло. — Джабраил приташил сюда камни, разложил их по кругу, а в середине поставил шатер. Видишь? И сидел ждал Патимат.

Влад, наклонившись, добросовестно разглядывал серую проплешинку. Хорошо бы найти тут что-нибудь такое. Но ничего не было, кроме лакированных козьих орешков...

Узнав, что Джабраил вернулся из хаджа и сидит теперь в шатре у входа в чумной аул, Патимат развела огонь в очаге и принялась стряпать. Как только стемнело, она выбралась из сакли. В узелке дочь несла отцу свежий хичин с чесноком. Побольше чеснока — это, говорят, отгоняет чуму.

— Послушай-ка ты меня, Патимат, — жуя родной хичин, сказал Джабраил дочери. — Как теперь повернется судьба, знает один Аллах, но Он молчит и ничего нам не рассказывает. А ты должна знать одно: эти книги, которые я, с Божьей помощью, раздобыл в святом городе Медина, должны храниться в нашем ауле до конца света и до окончания времен. И тогда никакая чума нас не возьмет, градобой поразит соседей, а гяуры, если занесет их случайно в Габдано, сами подведут шею под наше колено. Ясно тебе?

Взволнованная встречей, Патимат хлюпнула орлиным носом и спросила:

— Можно я побуду тут с тобой, папа? Я так тебя ждала...

— Можно, — разрешил Джабраил. — Только сходи сначала в аул и передай насчет книг. А потом возвращайся... Мать жива?

— Схоронили третьего дня, — сказала Патимат.

— На все воля Аллаха, — подвел грустную черту хаджи Джабраил. — Аминь.

Оба они — отец и дочь — скончались от черной болезни в шатре, внутри каменного круга, на пятый день по возвращении Джабраила. Это, как всем нам известно, особая честь и почет — умереть по дороге из хаджа в родные края. Только хорошему человеку и праведнику выпадает такая удача.

А чума сама собою понемногу сошла на нет, аул ожил и повеселел как ни в чем не бывало. Мертвых накормили землей, а живые воротились с кладбища в свои сакли и разожгли очаги под казанами с бараньей похлебкой. И так, верно, и должно быть в нашем мире.

Книги из аравийской Медины поместили в тихое место, и специально отобранные надежные люди, сменяя друг друга от поколения к поколению, стирают с них пыль кусочком оленьей замши и проветривают их страницы по мере необходимости.

Вершинный, прохладный ветерок продувал урочище Габдано, поднимал коричневатую каменную пыль с наезженной тропинки. Адалло спешил к сложной из коряво отесанных камней сакли и набросил петлю поводка на турий рог, накрепко врубленный в стену.

— Приехали, — сказал Адалло.

Сошел с седла и Влад Гордин и, разминая ноги, потоптался на одном месте. Никого не было видно ни на тропе, ни на плоских крышах саклей.

— Хорошая штука, — сказал Влад и щелкнул ногтем по турьему рогу. — Слушай, Адалло, а меня тут, случайно, не зарежут? Мрачновато как-то...

— Ну, скажи, если хочешь, что ты узбек, — прикинув, решил Адалло. — Из Самарканда. В общем, мусульманин. Ты в Самарканде ведь был?

— Был, был, — кивнул Влад. — Могу все описать, как на картинке. И в Бухаре был.

Адалло кивнул и шагнул к двери сакли.

В каменном гнезде было сухо, тепло. Квадратная, под низким потолком комната вмещала в себя немногое: крепкий стол на сильных ногах, тройку табуреток; одежда была развешана по стенам на корявых деревянных

крюках — брезентовый плащ, бурка. С потолка свешивалась на шнуре электрическая лампочка, в нее целилась своим стеклянным стволом керосиновая лампа со стола. Была тут и полочка с книжками, стоявшими вразбивку, кое-как.

— Ушли все куда-то, — беспечно заметил Адалло. — Придут, наверно. Это дяди моего сакля, Ахмед его зовут.

— Он кто? — спросил Влад, подбираясь к книжной полочке. — Колхозник? — И потянул из ряда книг захватанную, со стесанными углами — «Руководство по борьбе с грызунами». Рядом стоял нечитанный том с золотым тиснением на корешке — «Как закалялась сталь».

— Откуда колхозник! — возмутился Адалло. — Тут тебе не Россия. В Габдано никаких колхозов нет, они только на бумаге есть. Для отчета же надо.

— А свет есть? — спросил Влад и кивнул на пыльную лампочку на шнуре.

— Иногда дают, — сказал Адалло. — Но редко.

— Социализм есть советская власть плюс электрификация всей страны, — с усмешкой процитировал Влад Гордин.

— Нету у нас, — признался Адалло. — Советской власти нету, социализма нету. Тут горы... Садись, отдыхай.

Пока дожидались отлучившегося неизвестно куда дядю Ахмеда, придумали, как получше управиться с задачей. Адалло брался изложить просьбу главным старикам аула: так, мол, и так, приехал бухарский человек, человек надежный, вместе учимся, в Средней Азии про книги наши слышали, вот бухарец и хочет поглядеть хоть краем глаза, тем более что по-арабски он все равно не умеет читать. Старики послушают и решат: пускать или не пускать.

— А если они на меня поглядят, — поделился своими сомнениями Влад Гордин, — и догадаются, что я такой же бухарец, как ты, например, еврей?

— Да как они догадаются, — успокоил Адалло, — если у нас тут ни одного узбека нет и никогда не было! Сравнить-то не с кем.

Влад согласился: вряд ли дядя Ахмед хорошо разобрался в узбеках.

Наконец появился неведомо откуда Ахмед с платиновой бородкой и неправдоподобно черными, строго сведенными бровями. Просьбу племянника он выслушал хмуро, а живописный рассказ Влада — с интересом, перебивая его дельными вопросами о бухарском базаре.

— Думать надо, — пристально глядя на Влада, сказал Ахмед. — Отведи его, Адалло, к Саиду, пусть он думает.

К Саиду они поднимались по узкой тропе меж саклями, стоявшими впритык одна к другой. Прохладное солнце било им в лицо, ноги скользили на острых, похожих на наконечники древних стрел камешках крутого подъема. Жилище Саида стояло выше других домов аула, на горном склоне.

— Он самый главный старик, — объяснил Адалло запыхавшемуся Владу Гордину. — Как он скажет, так и будет.

Самый главный старик жил в крохотной сакле, состоявшей из одной комнаты. Мебели здесь, за исключением лежанки, не было никакой, так что и ощущения тесноты не возникало. Лежанка представляла собою сваренную из железных черных труб узкую кровать, аккуратно и без складок, как в образцовой казарме, застланную белым покрывалом. Над изголовьем, на свежей побелки стене, висели длинный кинжал в черных кожаных ножнах и мусульманский календарь из Саудовской Аравии размером с развернутую газету, доставленный сюда явно не по почте. К изножью кровати был прислонен длинный черный зонт, с такими, по слухам, расхаживают по Лондону конторские служащие с приличными доходами.

Сам хозяин, сухощавый старик лет шестидесяти пяти или семидесяти, чем-то напоминал знаменитого артиста Марлона Брандо, хотя и был бородат, в то время как артист, как известно, брил лицо и никакой бороды никогда не носил.

— Салам алейкум, Саид, — поздоровался Адалло. — Этот парень, — чуть подтолкнул он Влада вперед, — мой товарищ Азиз, он пришел познакомиться с тобой.

— Я из Бухары, — не зная, полагается ли подавать руку прямо сидевшему на кровати Саиду, сказал Влад. — Вместе учимся.

Потом Адалло с Саидом перешли на родной язык и говорили довольно долго. Влад Гордин терпеливо вслушивался в клекот высокогорной речи. Наконец собеседники умолкли, и Саид, подзывая гостя, похлопал рукою по покрывалу. Влад послушно подошел и сел на жесткий краешек кровати.

— Это Габдано, — сказал Саид. — Здесь мы живем.

— У нас в Бухаре... — начал было Влад Гордин, но Саид, словно бы не слыша, продолжал:

— Мы живем здесь, бухарец, по законам Мухаммеда ибн Абд аль-Ваххаба. Знаешь про такого?

— Не слышал... — подумав, признался Влад Гордин. — У нас в Бухаре...

— У вас в Бухаре, значит, мусульмане совсем испортились. — Саид вдруг улыбнулся, светло, мечтательно. — Но это ничего, ничего. Так бывает, и так должно быть: сначала плохо, а потом хорошо. А потом снова плохо.

— А у вас, — спросил Влад, — хорошо?

— У нас в Габдано очень хорошо, — твердо ответил Саид. — Наш хаджи Джабраил был ваххабитом и передал нам все, что нужно правоверному мусульманину. Теперь нам хорошо: ясно, сухо и русские к нам не ходят.

— Потому что они боятся, — вставил Адалло.

Саид поглядел на Адалло одобрительно:

— Аллах дал нашему Адалло голову не только для того, чтобы он таскал на ней папаху. Адалло придумал красивую песню про нашу жизнь. Скажи, Адалло!

— Хаджи Джабраил привез в курджуне солнечную пыльцу из Медины, — музыкально растягивая слова, произнес Адалло, — и сады Габдано принесли плоды, сочашиеся медом и мудростью.

Саид одобрительно кивнул головой и продолжал:

— Верно, верно... Мой отец всегда говорил: «Храбрец Джабраил умер как святой человек. Аллах забрал нашего Джабраила, а взамен дал нам аль-Ваххаба, который не может умереть.

— А у нас в Бухаре, — решил поделиться туристскими знаниями Влад Гордин, — то есть не в самой Бухаре, а в Самарканде, похоронен племянник пророка Магомеда. Это место называется — Шахи-Зинда, там еще ручеек течет.

— Маркс-Энгельс не храбрец. — Саид не обратил внимания на сообщение Влада. — Сталин не храбрец, Хрущев Никита не храбрец. Наш хаджи Джабраил — храбрец и герой.

Влад поежился: от таких разговоров попахивало лагерной баландой, настоящей на богатой витаминами сибирской хвое. Но и ежиться чересчур открыто и раздражать тем самым старика Саида тоже не стоило: кинжал висел здесь вовсе не для украшения стены, а нравом хозяин обладал, как видно, пороховым — вполне возможно, унаследовал это качество от покойного храбреца Джабраила.

— Кинжал какой замечательный! — не без лести заметил Влад. — Так и видишь его в руке какого-нибудь героя...

— Это кинжал Джабраила, — сообщил Саид, снял оружие с гвоздя и, вытянув его из ножен, принялся размахивать им с неприятным свистом. — Он передается у нас из поколения в поколение, по наследству, старшим сыновьям.

— Значит, вы... — выдавил Влад Гордин, — и Джабраил...

Старик надменно кивнул головой в знак признания, а Адалло ввинтил к месту:

— Это наш кавказский обычай. В Москве нет кинжалов, потому что там нет настоящих мужчин.

— Это нас не касается, — с безразличностью качнул рукою старик Саид, — что у них там в Москве... Я иногда читаю газету, когда Адалло мне приносит из Москвы. Всё врут. Про себя, про нас, про всех.

— Писали что-нибудь про Габдано? — встрепенулся Влад Гордин. — Где?

— Не про Габдано, — опроверг старик и снова рукой повел. — Про Кавказ, это почти одно и то же.

— Что мы, мол, «всесоюзный дом отдыха», — снова ввернул Адалло, — вроде проходного двора. Едут сюда все, кому не лень, а мы их любим и лезгинку для них танцуем с утра до ночи.

— Незванный гость хуже татарина, — подыграл Влад и осекся: татары все же мусульмане, не хуже бухарцев. Как бы Саид не обиделся.

— Мы их к нам не звали, — не обиделся Саид. — Русские Кавказ обманом захватили, им тут недолго осталось сидеть. Пусть уходят в свою Тамбовскую губернию. А кто не уйдет, тот жизнь потеряет.

— Так у них же пушки, танки, — усомнился Влад Гордин. — Они пол-Кавказа перебьют, а остальных вышлют, как при Сталине. Вы храбрецы, но жизнь-то ведь и у вас только одна!

— А что жизнь, молодой бухарец! — гибкой ладонью огладив круглую бородку, воскликнул Саид. — К жизни привыкают, как к собственной сакле, как к женщине, поэтому трудно с ней расставаться. Жалко расставаться! И это — слабость.

— Это — слабость, — как бы заучивая наизусть, повторил Адалло вслед за стариком.

— Они там пишут, — продолжал старик, — что наш Кавказ — это клумба: народы сидят рядком, как цветы в цветнике, а Старший Брат их поливает из лейки. И это называется — дружба народов... Я никак не пойму: сами-то они верят в эту писанину? Кавказ взорвется, камни долетят до Москвы.

— Дружба всадника с конем, — сказал Адалло, и старик снова взглянул на него с одобрением.

Хозяин замолчал, уложив руки на колени. Тишина не казалась неловкой или тягостной, а, напротив, совершенно естественной, продолжающей прозрачную тишину гор за стенами сакли. Уставившись в пол, сложенный из неровных каменных плит, Влад дивился тому, как откровенно, без оглядки высказывается горный старик. Ну да, «тот не храбрец, кто задумывается над последствиями». В литературных московских кухнях, за рюмкой водки, вряд ли и самые безоглядные

отважились бы на такие каменные слова, да и, честно говоря, Кавказ представлялся даже отпетым правдолюбцам не более чем приусадебным ботаническим садом державной России в ее кокошнике с золотой маршальской кокардой. Не полуевропейская Прибалтика, не курдючная Средняя Азия, а именно вечнозеленый Кавказ: плесканье в теплом море, курортные приключения, бочковое вино и дешевые фрукты. Рай, кто понимает! И горный Кавказ со всеми этими неведомыми чеченцами, аварцами, лакцами и табасаранцами был лишь скалистым спуском к морским песчаным пляжам. Для обитателя русской равнины весь Кавказ легко умещался в коробке папирос «Казбек» с джигитом на фоне снежной вершины — столь же всецело «наш», как родимый «Беломорканал» производства Ленинградской табачной фабрики имени Урицкого. Потомок вороватого Джабраила едва ли имеет хоть малейшее отношение к джигиту на папиросной коробке. О своей ваххабитской свободе он не мечтает с размытой улыбкой на губах — он к ней тянется крепкой рукою и готов не раздумывая заплатить за нее своей и чужими жизнями. Многие в России хотя и свободы, не один Саид из Габдано, но, рассуждал и раздумывал Влад Гордин, кому в голову придет искать вулкан на ручном Кавказе!

— Горы у вас там есть, в Бухаре? — спросил Саид.

— Горы есть, — сказал Влад. — Другие, конечно, не как здесь.

— А барсы есть? — спросил Саид.

— Нет барсов, — сказал Влад Гордин.

— Значит, барсов нет, — заключил разговор Саид, пожал плечами и поднялся с кровати.

— Пошли, — позвал Адалло и потянул Влада к двери сакли.

Тропинка прыгала с камня на камень, они спускались почти бегом и остановились на ровной площадочке, у источника, бывшего из скалы над тропой. Несколько женщин в длинных черных накидках стояли там, наполняя водой высокие глиняные кувшины с узкой лебяжьей шейей.

— Красиво, да? — спросил Адалло. — Такой источник только еще в Гунибе есть. Гуниб — знаешь? Там русские памятник поставили, так наши его сразу в пропасть свалили. Русские опять поставили — наши снова свалили. После третьего раза больше не ставят.

— Что за памятник? — спросил Влад Гордин.

— «На этом месте генерал от инфантерии князь Бяратинский пленил Шамиля», — сказал Адалло. — Такой был памятник. Теперь нет.

Подходили женщины с кувшинами на плече, заученно-ловким движением опускали их к земле, подводили, наклоняясь на прямых ногах, отверстия жерла под светлую струю воды.

— Он по-русски как чисто говорит, Саид этот, — заметил Влад. — Интересный старик.

— Он учителем работал в райцентре, — сказал Адалло, — потом бросил это дело, ушел в религию. У нас тут часто так бывает...

— А книги? — спросил Влад Гордин. — Покажет?

— Нет, — отвел глаза Адалло.

Так случилось, что сорок лет спустя Адалло возглавил ваххабитское движение в этом районе Кавказа. То ли его убили федералы во Вторую чеченскую войну, то ли он пропал где-то — следы его затерялись.

4

Женский корпус оказался вытянутым двухэтажным строением, рядом с мужскими бараками казавшимся белым дворцом. Строгое разделение полов не преследовало этических целей, просто так было принято: женщины направо, мужчины налево. Или наоборот. Для порядка. В школах при Сталине по всей стране тоже было установлено раздельное обучение, его отменили лет пять тому назад, вскоре после смерти лучшего друга детей и подростков. Но и в те безумные времена юных строителей счастливого будущего усердно натаскивали на грядущие бои с бессовестными американскими

буржуями и готовили к образцовой семейной жизни ради процветания рабоче-крестьянского отечества. С брезгливой ненавистью вспоминал Влад Гордин уроки танцев, на которых мальчиков заставляли — в пику расхлябанным западным сверстникам с их фокстротом и особенно аморальным танго — танцевать друг с другом падеграс и падепатинер. Но время, набирая скорость от зарубки к зарубке, шелковисто скользит, и уже немногие помнят классические па в народной расфасовке, а из репродукторов над заасфальтированными пяточками танцплощадок по всей необъятной Стране Советов гремят и грохочут почти западные, с милым чехословацким акцентом «Красные розочки» и «Бабушка, отложи ты вязанье». Так что прочь с дороги, милостивые дамы и кавалеры, или, как принято говорить, против факта не попрешь.

К коричневому, как жареное кофейное зерно, кубинцу Хуану, по причине иностранного тропического происхождения занимавшему в одиночку двухместную палату, обитательницы женского корпуса давно привыкли: он жил здесь, под соснами, почти полгода и выписываться не собирался. Мужики в своих бараках ворчали: «Пустили медведя в малинник!», а женщины глядели на кубинца как на евнуха в гареме. Он был на удивленье застенчив, этот молодой профсоюзный функционер, он старательно лечился и никогда не нарушал правил санаторного режима. Восемьдесят соседок по корпусу, разогретых болезнью, в один голос порицали его за эту неприятную твердость характера, чем ее только не объясняя — вплоть до отклонения от мужской жеребьячьей нормы. В конце концов, режим запрещал употреблять спиртные напитки, запрещал выплевывать таблетки, запрещал отлучаться с территории санатория более чем на два часа, но ухаживать никому не возбранялось! Ухаживайте на здоровье! «Кустотерапия» еще никому не шла во вред! И неукоснительной выписке подлежали лишь те, кого ловили за этим самым ухаживанием в палатах или процедурных. Там нельзя. Нельзя — и все. Это правило соблюдалось по мере возможностей: кругом густо рос

кустарник, да и коровий выпас, пустевший к сумеркам, был под боком. Так что ищущий да обрящет, тут сомнений не возникало.

Профсоюзник встретил Влада Гордина вполне дружелюбно. Жилищное уплотнение, как видно, никак не задевало его революционной гордости. Гостеприимно указав Владу на свободную койку, он похлопал его по плечу и, приятно закругляя гласные, залопотал по-русски. Нетрудно было сообразить, что и его, кубинца, раз ему полагается спальное место в двухместной палате, санаторное начальство приравнивает к инструктору партийного райкома. И это почему-то позабавило Влада Гордина.

— Лучше умереть лежа, чем жить сидя, — произнес Влад и поглядел на Хуана: доходит ли. — За решеткой, я имею в виду.

— Си, — отозвался Хуан. — Си. — Было ясно, что игра русских слов для него покамест непостижима. — Советские врачи очень хорошие. Никто не будет умирать. Ты тоже.

— Ну, это как Бог даст, — сказал Влад. — Я готов жить. Чего там...

— А у тебя что? — спросил Хуан. — Каверна?

— Туберкулома, — ответил Влад. — Штучка такая в легком.

— Знаю, знаю, — к большому удивлению Влада кивнул каракулевой головой Хуан. — Туберкулома... А у меня две каверны. Хожу на поддуваньё.

Веселиться тут было не с чего.

— Куба — красивая? — любезно поинтересовался Влад.

— Очень красивая! — подтвердил Хуан догадку Влада Гордина.

— Коньяк будешь? — спросил Влад. — За знакомство? У меня в чемодане есть.

— Нельзя, — сказал Хуан. — Я таблетки сегодня пил. Если ты, например, пьешь сначала паск, а потом пьешь коньяк, у тебя все лицо будет красное. Врач поймает, будет ругаться.

Владу неловко было спрашивать Хуана, что произойдет с его кофейной физиономией, если он хлебнет кофьяка за знакомство.

— Ну ладно, — сказал Влад. — Тогда я пойду немного пройдусь, что ли...

«Солнце — враг!» — этот дикий, на первый взгляд, лозунг можно было бы вывесить при входе в санаторий, над воротами. Над воротами вообще-то принято что-нибудь вывешивать и прикреплять, например, «Труд освобождает», или «Каждому свое», или «Кто тут не работает, тот не ест» — как на ЦК КПСС, на Старой площади. А здесь было бы: «Солнце — враг!», и есть над чем задуматься.

Собственно говоря, про солнце ничего не было занесено в режимный указатель, но «запрет на солнце» действовал повсюду: туберкулезник должен был бежать от солнца, как от адского огня. Тень — вот область наибольшего благоприятствования для больного ТБЦ. Солнечные лучи, эти золотые стрелы жизни и расцвета для всего сущего на Земле, впиваются в пораженные палочкой Коха легкие и делают там губительную работу. Мир, таким образом, поделен на светлюбивых и других — людей тени, ничем по виду не отличимых и непримечательных, для которых солнечное золото оборачивается ядом, пулей, зазубренным обрубок осколочной гранаты. И эта особенность — как бы тайна отверженных, страшная и порочная тайна, объединяющая чахоточных в разноплеменное братство — на теневых сторонах городских улиц, за стенами санаториев и больниц.

Подобными братствами полон мир. Зря и некстати большевики делят его всухую на два пласта и прослойку: рабочие, крестьяне и трудовая интеллигенция между ними. А где нетрудовая интеллигенция? Не всех же еще пересажали в лагеря. И кого волнует одичавший крестьянин с его сохой? Где масоны? Где цыгане, в конце концов? Отнести их к рабочим, крестьянам или интеллигенции никак невозможно. Люди душевно объединяются по представлениям о мире, по общим странностям, по несчастьям, наконец. Те же ваххабиты или, к примеру,

нудисты куда более тепло спаяны и объединены, чем пролетарии всех стран.

Люди тени под знаком беды сплочены потесней нудистов или масонов и лишь в своем кругу чувствуют себя неуязвимо.

Через всякое людское поселение, будь то Москва, Кривой Рог или село Серые Волки, пролегает свой «Бродвей» — главная дорога для пустопорожних прогулок населения: то, что называется «себя показать и на людей поглядеть». А чего на них глядеть? Зачем, казалось бы? Но гуляют с охотой...

По главной прогулочной аллее парка, тесно засаженной по обочинам поджарыми кипарисами вперемежку с рослыми тополями, мужчины и женщины прогуливались. Многие шли рука об руку, обмениваясь со встречными ничего не значащими репликами — так хорошо знакомые друг другу люди, вынужденные по той или иной причине безвыходно жить гурьбой на пяточке наигранно оживляются и вспыхивают фальшивым огнем, изо дня в день сталкиваясь лицом к лицу. Впрочем, такое случается и не на пяточке, а на широком пространстве. И не в тени, а на солнце. И не на Кавказе, а хоть бы и на противоположной стороне Земли. И вовсе не обязательно быть для этого чехом.

— Вот новичок! — определил, выхватив взглядом Влада Гордина из толпы, Семен Быковский, московский художник. — Идите к нам! — Освобождая место на скамейке, он придвинулся к рыжей девушке с тонкими розовыми губами, в вязаной кофте, накинутой на синий в горох сарафан.

Влад шагнул к скамейке.

— Вы чех? — дружелюбно спросил Семен.

— Нет, — сказал Влад Гордин, садясь. — Я, вообще-то, еврей.

Семен Быковский и рыжая девушка приятно засмеялись, как славному, но давно им известному анекдоту с бородой.

— «Чех», — объяснил Семен, — происходит от слова «чахотка», а не от «Чехия». Вы чех, я чех, Эмма, — указал

он на рыжую, — тоже чех. Или, если хотите, чешка. Как вам больше нравится.

— Тогда я чех, — согласился Влад.

— Или тубик, — добавил Семен Быковский. — Так тоже можно.

— Нет, лучше чех, — решил Влад. — Не так противно.

— Дело вкуса, — сказала Эмма. — Но вы, пожалуй, правы... Это вас поселили в наш корпус?

Новости здесь разносились быстро, как в семье.

— Меня, — кивнул Влад. — К кубинцу подселили.

— А у вас что? — спросил Семен, и Влад сообразил: новый знакомец спрашивает, что у него, Влада, в легких: дырки? затемнения? справа или же слева? Как видно, с этим вопросом тут у них тянуть было не принято, его задают первым. Не как тебя зовут или из какого ты города, а «каверны? сколько?». То негр приставал, теперь этот. Вот скотина.

Влад дал ответ суховато.

— Мы тут всё знаем про ТБЦ, — сказал Семен примирительно. — Хоть диссертацию пиши... — Он повернулся к Эмме. — Ты какое лето тут сидишь? Четвертое? А я седьмое. Хроники! Как же не выучить всю эту науку?

— А я только попал, — горестно признался Влад Гордин. — Неделию назад я про это даже не слышал ничего... — Его вдруг потянуло рассказать случайному Семену и этой рыжей про военкомат, про рентгенолога в диспансере и как он за ручку двери не хотел браться голыми пальцами, чтоб не прихватить заразу. Они как-никак — свои, поймут с полуслова.

— Вам стрептомицин надо, — с большой уверенностью сказал Семен Быковский, — вы свежий. А стрептомицина у нас тут даже не видали, его только в Кремлевке колют всем подряд.

— От него нагрузка на сердце, — заметила Эмма.

— Да, или на ухо, — сказал Семен. — Но у нас его все равно нет, так что и беспокоиться нечего.

— Нам совсем, что ли, не дают? — уточнил Влад, проводя жирную черту между обитателями профсоюзного

кавказского санатория и небожителями из кремлевских лечебниц. — Только им?

— Это потому, что они партвзносы платят каждый месяц, — назидательно объяснил Семен. — И уже на эти партвзносы Кремлевка покупает в Америке стрептомицин... Вы платите партвзносы?

— Да я беспартийный, — ответил Влад.

— Ну вот видите! — подвел итог Семен Быковский, и рыжая Эмма усмехнулась своими розовыми губами. — Беспартийный, к Кремлевке не имеете никакого отношения. Какой же тут, спрашивается в задачнике, стрептомицин? С какой это такой радости? Вон, наша Эмма сознательная комсомолка, а ей тоже ничего такого не полагается американского. Нас лечат горным воздухом и усиленным питанием. Воздух — неограниченно, и это хорошо... Вы пообедали?

— Не успел, — сказал Влад. — Оформлялся.

— В обед дают дополнительную тарелку супа, кто попросит, — пояснил Семен. — Или даже две. У нас тут есть один гаврик, так он каждый день сжирает по три тарелки супа. Думает, ведро супа заменяет один укол стрептомицина... Ну да завтра сами увидите.

— Может, сходим в «стекляшку»? — предложила Эмма. — Съедем по нормальному чебуреку.

— У меня коньяк есть, — сказал Влад Гордин. — Армянский. Я негру предлагал, а он не хочет.

— Бойтся он, — вздохнула Эмма. — Как это они там революцию устроили, никак не пойму.

— Так и устроили, — безмятежно отозвался Семен Быковский. — Не все же, как он. Фиделю Кастро налить — он бы обязательно хряпнул.

— Он бы — да! — не раздумывая, согласилась рыжая Эмма. Было заметно, что она, скорее всего, не отказалась бы выпить по рюмке с бородатым вождем кубинской революции.

— Но с другой стороны, — продолжал Семен, — как наши русаки — тоже не все на свете. Кто-то сказал из великих: «Русскому солдату сухарь дай — он до Берлина добежит»... Эмма, зови вон Валу да пошли в «стекляшку»!

Пока Эмма ловила промелькнувшую в толпе Валю Чижову, Влад наклонился поближе к Семену Быковскому и спросил как о тайном:

— Тут вылечиться можно? Выходит отсюда кто-нибудь?

— На своих двоих, вы имеете в виду? — Семен откинулся на спинку скамейки, глядел пыльно. — Выходят. А на следующий год возвращаются. И опять, и снова. Хроника. Мы привыкли, и вы привыкнете: это наша жизнь. А бывает ведь намного хуже... У вас, между прочим, с вашей туберкуломой, есть шанс — один из тысячи. У меня его нет.

К «стекляшке», расположенной за турбазой, на берегу юркого ручья, вела нахоженная тропинка; заведение, стоявшее на отшибе, пользовалось популярностью. В самом поселке работала еще и грустная столовка, где и в полдень было сумрачно, да распивочный буфет с разливным портвейном и заскорузлыми пирожками, да кафе «Минутка», при ознакомительном взгляде на которое человека поражала депрессия и клейкая хандра. Ни одна из этих точек общепита не могла выстоять против современной «стекляшки» с ее никелированной стойкой и белыми пластмассовыми стульями. Кроме того, вид бистротекучей воды за обзорными окнами примирил иных посетителей с тяготами жизни: они со вздохом проглатывали свой стакан, качали головами и разводили руками в знак бессилия перед судьбой.

Владу Гордину на исходе этого дико прожитого дня здесь понравилось. Этого дня да еще почти что недели, отчеркнувшей его от нормальной привычной жизни, от Москвы и от Камчатки, где он в этот час должен был неизбежно, казалось бы, находиться среди сопок. Вместо всего этого он оказался здесь, на берегу кавказского ручья; это не укладывалось в голове. Но при виде сосредоточенно выпивающих за столиками почти истерическое «не может этого быть!», бившееся во взбаламученной душе Влада, уступало место осознанному и тяжкому «может, может...». И в окружении новых знакомых

отчаяние перед неизбежной и скорой туберкулезной смертью понемногу рассеивалось. Живут же тут люди, в санатории, и ни в чем себе, как видно, не отказывают! День да ночь — сутки прочь. И в «стекляшку» ходят.

— Это все наши? — кивнув на выпивающих на берегу, примиренно спросил Влад. Хорошо, что здесь кругом одни чехи, это успокаивает.

— Нет, — сказал Семен Быковский со знанием дела. — С турбазы. А вон те, у стойки, — «дикари», койки тут снимают у аборигенов.

— Ишь понаехали! — искренне огорчился Влад.

— Ничего, — сказал Семен. — Мы их сейчас разгоним.

5

С дюжину «дикарей» толпились в очереди у никелированной стойки. Там были мужчины и женщины, стройные и обрюзгшие, красивые и отталкивающие, в возрасте от двадцати до семидесяти примерно лет. Все они желали поскорей, хотя время никак их не поджимало, получить свои чебуреки и бутылку; они держались тесно, переступали с ноги на ногу и нажимали на первых. Всякому человеку приятно сидеть на берегу кавказского ручья, с чебуреками и выпивкой, в сумерках. Над головой красивые колкие звезды, впереди курортная ночь, полная неожиданностей. И не хочется думать о возвращении в Орел, Соликамск или Магадан — столицу Колымского края. Сюда, на Кавказ, в этот отстойник житейских неприятностей и семейных забот, они приехали отдохнуть на три свои отпускные недели с твердым намерением пожить по полной программе, на всю катушку. И на том готовы были стоять нерушимо.

— Сейчас мы их быстренько разгоним... — уверенно повторил Семен Быковский.

Они взбежали по ступенькам — Семен, Влад, рыжая Эмма, Валя Чижова и увязавшийся за ними разбитной паренек Миша Лобов из второго корпуса — и остано-

лись на пороге. Те, у стойки, оборотились к ворвавшимся как по команде и глядели на них хмуро, с подозрением: на хулиганов не похожи, на налетчиков тоже вроде бы не тянут. Было, однако, ясно, что «дикари» свои позиции у стойки сдавать не собираются и за законное место в очереди — иначе говоря, за справедливость — способны и пасть порвать. А то, что справедливости вообще не существует в природе, им почему-то сейчас, в минуту напряженности, в голову не приходило.

Семен Быковский, рыжая Эмма и разбитной Лобов разом шагнули к стойке — к свободной, левой ее части, примыкавшей к окну. Очередь подобралась, как змея перед броском, а кудрявая буфетчица глядела на происходящее из-за кассового аппарата с большим безразличием: она-то знала, что сейчас случится.

Семен, Эмма и Лобов сунули руки в карманы, достали оттуда плёвки — темного стекла бутылочки с широким горлом и навинчивающимися крышками — и с маху шмякнули ими о никелированное покрытие стойки. Очередь отшатнулась назад, как будто услышала предупредительные выстрелы, за которыми следует стрельба на поражение. Валя Чижова потянула Влада за рукав от двери, чтобы не мешать ходу событий. «Дикари» отступали беспорядочно, они бормотали ругательства, отталкивали друг друга и застревали в узких дверях. Страшная перспектива заражения маячила и горела перед ними огненными буквами: в коричневых бутылочках жила сама смерть.

Да и те, что прохладжались на берегу ручья, на природе, не остались случайными свидетелями происшедшего. Что-то там такое случилось, в помещении, раз люди побежали сломя голову неизвестно от чего и куда. Может, милицейская облава, может, просто поножовщина — кто знает... Несколько человек поднялись со своих мест и, допивая и дожевывая на ходу, побрели в темноту от греха подальше. Некоторые побрели, а кое-кто и остался, настороженно поглядывая из-за своих стаканов на светящуюся изнутри «стекляшку».

От очереди в «стекляшке» не осталось и следа. Буфетчица молча торчала за своим кассовым аппаратом.

— Нам, Верочка, как всегда, — обратился Семен к кудрявой буфетчице. — Стаканы прополощи получше на всякий случай. А то нам только гриппа не хватает.

— Черт вас не возьмет, — произнесла Верочка с большой убежденностью. — Всю торговлю мне своротили.

— Да они придут! — успокоил Семен Быковский. — Куда денутся?

— Сегодня уже не придут, — сказала буфетчица. — Боятся. Завтра только.

Горная темень куда гуще и краше темени степной или морской. В живом звездном свете очертания гор утрачивают перспективу, и человек оказывается в самом центре, в самой сердцевине дружелюбной горной бездны; рваные края скал величаво вздымаются, ты кажешься не крупней песчинки рядом с ними, но и они лишь горстка щебня по сравнению со сквозным бездонным небом над ними. А если обмылок луны заскользит в облачной легкой пене, горы становятся похожи на театральные декорации, вырезанные из черной фотобумаги.

В ночном лесу путника пугают лешие, кикиморы и шишиги, не говоря уже о бедовых людях с ножиком за голенищем сапога. В море врожденные опасения перед пучиной под ногами и неприятные примеры из истории мореплавания преследуют путешественника, особенно по ночам; вино притупляет тревогу — впрочем, и в лесной чащобе тоже. А в горном мире, в замшевой песне ночи, человек к месту, как буква в строке.

Ручей в своей ложбинке не был различим в темноте, сколько Влад Гордин ни вглядывался. Шум от бега близкой воды достигал площадки на берегу, жидко подсвеченной из «стекляшки» и заставленной столами и скамейками. Семен, Влад и Миша Лобов с бутылками и стаканами в руках расселись вокруг столика, а рыжая Эмма с Валею ждали у кухни, когда поспеют чебуреки в стреляющем раскаленном маслом казане.

История с плёвками вышибла Влада из запекшейся было колеи, сощелкнула с рукава милой надежды. А

ведь все как устраивалось, как распрямлялось на глазах: морга нет никакого, под замком никого не держат, поселили в женский корпус, и Семен этот вполне нормальный человек, и у Вали ладошки кукольные, игрушечные... И вдруг — камнем с горы на голову: люди бегут от него, от Влада Гордина, как от чумы. Это ведь хуже не придумаешь, это — все, кранты. Бегут, как от какого-то бешеного убийцы!

Подошла Эмма, неся на вытянутых руках тарелку с чебуреками, а Валя осталась ждать вторую часть заказа, она, поднявшись на носки, махала рукой от кухни — иду, уже иду! Семен и Миша Лобов потянули носом: вкусно пахло. Миша потянулся к бутылке, ему надоела вся эта подготовка, он хотел пить и есть.

«Пить, есть... — глядя мимо стола, в сторону, горевал Влад Гордин. Уже и Валя обозначилась в сумрачном коридоре его зрения, она получила свою тарелку и теперь радостно, чуть не вприпрыжку ее несла. — А что еще? Болеть, умирать. Вот и вся жизнь, к чертовой матери. И у этих, которые разбежались, то же самое. Они приперлись сюда, в шалман, не на звезды глазеть от ручья, а пить и есть».

— Давайте выпьем, ребята! — услышал он голос Миши Лобова. — Нашего полку прибыло, и это хорошо. За знакомство! — И потянулся к Владу чокаться.

«Они не должны были бежать! — продолжал горевать Влад. — Мы что, страшней их? Они такие же тупые дураки, как и мы, такие же мерзавцы...» Но он знал остро, что — не такие.

Он почувствовал на своем плече игрушечную Валину ладошку.

— Это за вас пьют, — сказала Валя.

— И едят? — спросил Влад.

— Ну да, — немного удивилась вопросу Валя. — Тут чебуреки самые вкусные в Роше, сами увидите.

«Лучше неприятности с фаршированной рыбой, чем неприятности без фаршированной рыбы», — вспомнил Влад Гордин старинную семейную поговорку и протянул руку за едой.

Налет на «стекляшку», разгон мирных курортников и приятное выпивание под звездами у ручья — все это не имело ни малейшей связи с ритуалом посвящения нового человека в члены туберкулезного братства или с какой либо традицией вообще. Ни малейшей! Потому что ни традиции, ни ритуала вступления в чехи не существовало в природе. Едва ли кто-нибудь, человек разумный, взялся бы утверждать и настаивать, что вот, мол, сегодня ты здоров, как лось, живешь легко, а завтра тебя сшибет посреди дороги той самой палочкой-разлучалочкой — и это совершенно ничего не значит, это мимолетный факт биографии. Мимолетный или не мимолетный, но пострадавший запомнит этот день на всю оставшуюся жизнь. Все факты мимолетные, кроме двух основных: рождения и смерти. Почему же тогда так уверенно справляют люди свадьбу, а чаще две или даже три за жизнь, да к тому же иногда отмечают и счастливые разводы, почему пьют и гуляют, провожая сыновей в армию, а потом, если повезет, встречая их оттуда? Почему гуляют и пьют, оканчивая школу, институт, защищая кандидатскую и докторскую, если получится? Может, потому, что за всеми этими фактами биографии сидит на лавочке, положив ногу на ногу, надежда с медовыми глазами, а новенького чахоточного кто-кто, а только не надежда выводит на его дорожку? Да, не она: отчаяние тащит его на поганой веревке. Но и у отчаяния оборотная, как у медали, сторона — все та же надежда, и не известно еще, какая из сторон раньше появилась на белом свете.

Так заведено: пить и гулять, определив повод, смеяться и плакать. И от счастья, бывает, плачут в три ручья, а беде дерзко смеются в лицо. Или наоборот. И все перемешано. Только вот почему же за тысячелетия не придумали, как проводить ни в чем не повинного чахоточника до границы этого мира, как встретить его по ту сторону санаторного забора с чугунными воротами! Разве такое неожиданное пересечение границы — не повод?

— Хороший повод! — услышал Влад голос Семена Быковского. — Вы здесь, и мы рады вам. По логике вещей мы должны бить себя кулаками в грудь и царапать

лицо: бедный мир, в мире стало чехом больше. Но мы не царапаемся и не бьемся: миру плевать на нас, а нам — на мир. Мы живем своей жизнью. Мы — племя сорвавшихся с цепи людей. Добро пожаловать к нашему костерку! Здесь, поверьте, не так плохо, как кажется. Вот и Валечка так думает.

— Ну да, — сказала Валя. — У нас тут хорошо. — И, наполовину опустив верхние веки на синие свои кружочки, поглядела на Влада Гордина без всякого как бы интереса. Как бы вообще поглядела мечтательно мимо него, в темный кавказский ручей, населенный рыбой форелью. Влад такие взгляды ловил безошибочно и знал, что за ними следует. А кто не знает? Но вот ведь что удивительно: совершенно одинаково поглядывают синеглазые девушки на *том* свете и на *этом* — нет никакой разницы. Выходит дело, разделительный занавес не опустился до самого пола, осталась щель, и есть, видимо, общие черты по обе стороны проклятой занавески.

Со стаканом в руке Влад Гордин доверительно наклонился к Вале:

— А почему вы бутылочку вашу не показали? Там, в «стекляшке»?

— Плёвку, — легко уточнила Валя. — В тумбочке за была. В палате.

— Так вы ее не обязательно с собой, что ли, носите? — вкрадчиво наседал Влад.

— Ну да, — кивнула Валя. — Только вот когда идем куда-нибудь, как сейчас. Тогда беру.

— Как так? — не вполне понял Влад Гордин.

— Так у меня ж закрытая форма, — с улыбкой просветителя объяснила Валя Чижова. — Мне плёвка вообще не полагается.

— А у Эммы? — шепнул Влад, не уверенный, можно ли спрашивать.

— Закрылась, — сказала Валя. — Была открытая, а потом закрылась. У нас у всех здесь закрытые, но, конечно, могут открыться.

Значит, вся эта дикая лажа в «стекляшке» — спектакль, цирк, без облегчения дошло до Влада Гордина. Ну и ну.

— Я, между прочим, — придвигаясь чуть-чуть поближе, продолжала Валя, — только здесь такая веселая. А там... — Она округло повела подбородком, получилось — за горами, за ночью. — Я обыкновенная медсестра, правда, в легочном отделении. Среди своих, так сказать. Третью градскую больницу знаете в Москве? Вот там... Так что со всеми вопросами — ласково просимо.

— Так вы украинка? — спросил Влад. Ему вдруг почему-то стало интересно, кто она такая, эта Валя.

— Мать только украинка. А отец — тамбовский волк. — Валя улыбнулась. — Дружба народов. Бывает иногда.

— А я вот не такой веселый, — пожаловался Влад и пожал плечами. — Чего-то не получается.

— Ну-у... — осудила Валя. — Вот это уже не годится.

— Спасенье утопающих — дело рук известного кого? — усмехнулся Влад. — Это утешает. — Он с отвращением поймал себя на том, что хочет, единым духом и не откладывая, рассказать и случайной Вале про военкомат, про ручки на дверях диспансера, про туберкулому в левом легком, наверху, поймал и остановил. Скольким людям он уже готов был рассказать все как на духу — регистраторше, Семену, даже профсоюзному негру, — все, что день назад представлялось ему страшной и отчасти позорной тайной. Как видно, на вытоптанном пятачке, очерченном санаторным забором, действуют иные правила, дуют иные ветры — скрытое в душе без задержки выдувает наружу, на всеобщее благожелательное обозрение.

— Здесь каждый утешается как может и как хочет, — сделавшись вдруг серьезной, сказала Валя. — Каждый из нас. А кто не утешается, тот попадает во Второй, в больницу.

— В один конец... — пробормотал Влад Гордин.

Валя расслышала.

— Первый день всегда так! — заглядывая в глаза Влада своими синими шариками, чуть слышно проговорила Валя Чижова. — Вы не расстраивайтесь! Завтра все пройдет.

— Утешусь? — горько спросил Влад.

Валя отвела глаза, не спеша отвернулась.

— Тогда коньяка! — сказал Влад Гордин, как будто предлагал полцарства за коня. — Чего это мы ничего не пьем? — И порожний стакан протянул.

— Мы пьем, — поправил Семен Быковский. — Просто вы не обратили внимания.

Семен Быковский, художник, вот уже полтора десятка лет считал, что смерть является наивысшим проявлением жизни, ее венцом и катарсисом. А до этого, до болезни, он вообще ничего не считал, потому что воевал с немцами, был молод и здоров. С дырками в легких он стал задумываться над смыслом жизни.

Не то чтобы болезнь рассекла его жизнь на две части: «до» и «после». Шов был не виден, разве что прощупывался, но «до» для Семена перестало существовать, как будто переместилось в иное измерение. Смерть, которая и в войну была для него не более чем страшным обрезком металла, бессмысленно свистевшим над головой, стала теперь реальна и близка чуть не по-свойски. Так, наверно, бывает с людьми после полного века, после семидесяти, когда каждый Божий день для одолевшего перевал и спускающегося уже с горы — чистый подарок, возможно, и случайный. Но Семену до перевала было тогда далеко, ему едва стукнуло тридцать пять.

В насытые послевоенные годы смерть не посвистывала в воздухе, она неотвязно ползла за Семеном по пятам, из стационара в стационар. Тощие больничные харчи и нехватка лекарств хоть и не давали умереть, но и на поправку шанса не оставляли. Семен выжил вопреки всем прогнозам — и это, наверно, было самое главное. Последний больничный срок он пролежал под Уфой, где его ради борьбы с заразой поили кобыльим молоком, как древнего скифа. Руки его не были отягощены имуществом: в солдатском вещмешке вольно размещались с полдюжины книжек, пара белья, коробка зубного порошка, четыре рисовальных альбома и пачечка писем от старшей сестры Майки, одиноко проживавшей в Тобольске.

Майка была для него красивой яркой декорацией, без которой ему самому и делать бы нечего на сцене. Их

родители пропали в тридцать седьмом, еще при Ежове, и осевшая в сибирской глухомани Майка казалась Семену семейным бастионом, надежным и крепким. Как бы ни сложилась судьба, каким бы боком ни повернулась — всегда можно было уехать в Тобольск, за тридевять земель, к Майке: стол под выцветшей клеенкой, картошка с постным маслом, пахнущий сапожным дегтем чаек в выщербленных чашках. Родная семья.

Стопка писем росла, поездка в Тобольск откладывалась...

Эта история — безотцовщина, постная картошка в Сибири, больной Быковский — была бы ничем не примечательной, каких тьмы и тьмы в России, если бы не страсть Семена к рисованию. Водить карандашом по бумаге он начал на фронте, в условиях, казалось бы, самых неподходящих; такое иногда случается с людьми в тюремной неволе и в сумасшедших домах. Но и гибельные обстоятельства войны, и нелепая насильственная смерть, непостижимо сделавшаяся привычной, вызывают необратимые подвижки в иных душах, ведут человека к творчеству — в колени Бога. Обрывочные художественные занятия стали для Семена потребностью и радужным выходом из военного слепого тупика. Не вглядываясь в будущее, опасно висящее на жидкой нитке, он желал стать художником.

Будущее наступило в мае сорок пятого — Семен пошел учиться и художником стал. Вполне посредственным художником с дипломом художественного училища в кармане. Служба книжным графиком в геологическом издательстве «Недра» приносила ежемесячную зарплату, тихое место на общественной лестнице, в нижней ее трети, и — по профсоюзной линии — ежегодное лечение в туберкулезном санатории «Самшитовая роща». Даже не лечение, собственно говоря, а подлечивание. Не поправка, а подправка.

И, подправленная болезнью, продолжалась жизнь. Была комната в коммуналке, почти в центре, недалеко от Трубной, были праздники — день рождения, Новый год. И была Майка — эта башня, эта опора семейного

фундамента в далеком Тобольске, почти мифическом, окрашенном в белоснежно-розовые сибирские тона.

Реальным домом, обжитым и теплым, стал туберкулезный санаторий на кавказской горе. Семен выходил из него в сопредельный двоюродный мир и жил там среди чужих, недопонимающих его людей — выходил, чтобы вернуться. Все они, обитатели санатория, испытывали подобное чувство неразрывной привязанности к своему истинному дому, все без исключения. Уходили к чужим, возвращались к своим. Рыжая Эмма была Семену Быковскому куда ближе любой из тех вполне милых здоровых женщин, что заглядывали от времени до времени в его коммуналку на Трубной, и сидение в «стекляшке» под стрекот кавказских цикад — приятней званных московских посиделок в кругу непричастных приятелей. А жизнь причастных объединяла общая тайна — как тайный договор объединял масонов с их секретными знаками или немногословных тамплиеров, скрытых для постороннего взгляда стенами своего ордена.

Но первый день, день вхождения, был еще трудней последнего, прощального, уводящего навсегда в тот мир, где ни секреты, ни тайны как будто ни к чему.

— Мы пьем, — улыбнувшись над чебуреками, повторил Семен. — А вы не замечаете...

— Ну и что ж! — вступилась за Влада Валя Чижова. — Может, просто задумался человек... Бывает же!

— Конечно, бывает, — благодарно подхватил Влад. Хорошая какая девушка Валя Чижова, все понимает. Что надо, то и понимает, и в этом, наверно, и есть счастье или, по меньшей мере, смысл жизни.

— «Ах, цыгане, прелестна ваша жизнь!» — приятным голосом пропела Валя. — Надо было гитару захватить, это я, дура, забыла.

— Странная все-таки штука эта жизнь, — сказал Влад Гордин и нахохлился над стаканом: заявление вышло таким потертым, таким пустым. — А вы цыганские песни знаете? «Я проскачу по лучшей в мире дорожке, на лучшей в мире кобылке...» Лорка.

— Да, странная вообще-то, — беззаботно согласилась Валя.

Скажи Влад, что жизнь, напротив, начисто лишена странностей и проста как смазные сапоги, она и с этим бы, наверно, согласилась с той же прозрачной легкостью. Замечательная действительно девушка Валя, таких поискать надо, жить надо с такими всю жизнь напролет и умереть в один час. Так нет...

— А я, когда еще в Вологде жил, — сказал Миша Лобов и искательно продвинул порожний стакан к середине стола, — так вот, у нас там была одна старушенция, она волосы сводила пареной крапивой и чирьи лечила.

Рыжая Эмма уставилась на Лобова с искренним интересом, да и Валя наставила ушко топориком, как будто ей угрожало нашествие чирьев и она остерегалась загодя; девушек интересовала лечебная тема. Вслушался и Влад: как-никак знахарка с хирургическим взглядом встречается не на каждом шагу. Только Семен Быковский сидел отстраненно.

— Какие волосы? — уточнила Эмма.

— Ну, какие... — задержался с ответом Миша Лобов. — На ногах, например, или на спине, где кому надо. У одной моей знакомой росли прямо на копчике, как такая бородавка, — она свела.

— Дурак! — не выдержала, прыснула Валя Чижова.

Лобов не стал спорить и не обиделся.

— А как она крапиву парила? — снова задала вопрос Эмма. — Ты рецепт, случайно, не запомнил? А то, когда бритвой бреют, все снова отрастает и колется на ногах. — Как видно, эта тема была ей не чужда и горький пример волосатого человека Адриана Евтихьева из учебника по естествознанию стоял у нее перед глазами.

— Ну, как... — призадумался Лобов. — Я сам лично не видал, как она парила. Брала крапиву...

— Да что мы все про старое! — вошел в разговор вроде бы и не прислушивавшийся Семен Быковский. — Вологда!.. Какая там еще Вологда! Мы на Кавказе, в Самшитовой роще, шумит ручей, мы живы и пьем вино. Чего еще? И на кой черт нам сдалось это прошлое, я не

понимаю? Если время мерить на минуты, то для меня вот эта самая минута — вечность. Или по крайней мере, жизнь.

— У нас же праздник, — сказала Эмма и, улыбнувшись, потерлась щекой о Семеново плечо. — Нас стало больше. Влад, за вас!

— Тогда давайте на брудершафт! — предложил Миша Лобов. — На «ты»! По закону!

Идея пришлась по вкусу, все потянулись к Владу стаканами, переплетали руки, чмокались. В который уже раз за сегодня Влад Гордин вспомнил железную ручку на двери диспансера и как он натягивал рукав пальто на ладонь. И воспоминание это без всплеска и без следа ушло под воду.

— Ну вот, — вскользь поцеловав Валу Чижову и не отстраняя лица, сказал Влад. — Считаю, теперь уже все.

— Что все-то? — шепнула Валя и вильнула своими синими шариками сквозь подкрашенные ресницы.

— Да так... — тихонько, в тон Вале, сказал Влад Гордин. — Все по новой!

Насчет «уже все» Влад несколько преувеличивал. Свою жизнь в санатории «Самшитовая роща» в новом качестве он начинал не с чистого листа: кое-что все же позвякивало и побрякивало, прикованное к шиколоткам легких плясовых ног. Не говоря уже о семейном круге, о кровном родстве, оставалась в Москве еще и Таня с разноцветными глазами, один ореховый, другой зеленый, — девушка из окололитературной среды, привязанная почему-то к эпистолярному жанру. Семейный же круг был, правда, надежно разомкнут, припорошенные временем связи ушли в разъем, и Влад не испытывал ровным счетом никаких обязательств перед всеми этими двоюродными тетками и троюродными дядьками, да и энергичная мама, устроившая свою жизнь после гибели отца и уехавшая в Литву с новым мужем, не вызывала в нем ничего, кроме праздного любопытства. Из Самшитовой рощи вся эта семейно-родственная колония выглядела совершенно посторонне и пунктирно. Не то с эпистолярной Таней, которая наверняка сидит сейчас за

письменным столом и наяривает страницу за страницей: «Мой любимый кареглазый король, мне страшно одиноко без тебя в этой огромной московской клоаке. Все муки, которые ты испытываешь вдали от меня, синим током пронизывают мое тело, самые затаенные его уголки и переулки...» Нелегко иметь дело с окололитературной барышней, это ясно. Но и водоплавающая какая-нибудь Матреха из рыболовецкого колхоза «Красная мормышка» надоест через месяц-другой и станет поперек горла: каждое сердечное предприятие имеет свой запас прочности. А эта Таня с ее затаенными переулками тихо и накатанно перешла к Владу Гордину от его приятеля, самиздатского прозаика Вадима Соловьева по кличке Пес. Случилось это на вечеринке у Пса, в его полуподвале, прозванном знакомцами хозяина для красоты слога «Конура». Ну Конура так Конура; не называть же псиное жилище Гнездом кукушки... Так вот, у Вадима Соловьева осталась тогда на ночевку одна девчоночка, приехавшая в столицу из Калуги поступать в театральный институт, а эпистолярную Таньку взял на буксир Влад Гордин, довез ее до «Войковской» да так там и остался в Танькиной однокомнатной квартирке, доставшейся ей от первого мужа — доброго человека и художника кино. Наутро, открыв глаза и обнаружив у своего плеча посапывающую Таньку, Влад Гордин даже немного удивился: вчера то же место и то же пространство у плеча занимала совсем другая девушка. Правда, и вид комнаты вчера был совсем иной, и это многое объясняло... Так или иначе, но совершенно ни к чему было оставлять Таньке адрес санатория и вообще посвящать ее во все эти дела. Жила бы себе дальше и ничего не знала, и никаким током ее бы не било. Надо было уходить по-английски, англичане ведь тоже не круглые дураки: ни тебе «спасибо», ни «до свидания». Но кто же мог догадаться, что в первый же кавказский вечер вот эта чудная Валя с закрытой формой будет с ним целоваться на брудершафт!

Всякое начинание подходит к своему завершению — скорее рано, чем поздно, — и в конце концов возвращается ветер на круги свои. Заздравное вино было вы-

пито до дна на берегу горного ручья, чебуреки съедены до крошки. Звезды сверкали в черных небесах, словно были вышиты там серебряной мишурой. Семен Быковский вдруг погрузился, замолчал, и это было понято как сигнал возвращаться восвояси. Расходились не скопом, а растянувшись, в темноте теряли друг друга из вида. С шуршанием осыпались и брякали камешки под ногами на тропинке.

Как только тропа чуть расширилась, переходя в дорогу, Влад догнал Валю и взял ее под руку.

— Погуляем немного? — спросил Влад.

Валя промолчала и руку не отняла.

И Семен возвращался не один. Эмма шла сбоку и немного сзади.

— Ну, чем я не примерная женщина Востока? — сказала Эмма в спину Семену. — Только поклажу не ташу, мешок какой-нибудь...

Но Семен не откликнулся на шутку.

— Ты хочешь побыть один, я же вижу, — снова заговорила Эмма, когда они уже почти дошли до санаторных ворот. — Может, зайдешь к Казбеку?

Иногда Эмма проявляла проницательность, и это настораживало Семена. Как она догадывается, что может понимать? Было бы проще и приятней, если б Эмма была дешевеньким украшением его жизни, наподобие какой-нибудь позолоченной цепочки... Зайти к Казбеку. Да, пожалуй.

Казбек, чечен, жил в десяти минутах ходьбы от санатория. Его халупа стояла на окраине поселка, точнее сказать, за окраиной, но и не вовсе на отшибе, а там, где улицу еще не проложили и ореховый лес подступал вплотную к людям, к их очагам. Свое жилище Казбек именовал «сакля» — с тем же примерно красивым вызовом, с каким иные москвичи называют хатами свои квартиры в пятиэтажках какого-нибудь Конькова-Жеребкова или же внутри Садового кольца, не важно где. Ну сакля так сакля. А вот почему «хата», если уж на то пошло, а не «изба» — непонятно: «Поехали ко мне на хату», «А у

меня на хате бутылка есть и закусить». Вот если б дело было в Киеве — на Подоле или на Спуске, — тогда другой разговор.

Семен заглядывал к Казбеку не часто, в неделю раз, и, войдя в дом, заготовленно произносил с порога одну и ту же фразу: «Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе». Казбек в ответ на это улыбался в седые с чернью усы и цедил: «Магомет не Магомет, а все равно заходи, гостем будешь».

Казбек был человек со странностью: женщин в свою саклю он не водил никогда, храня тем самым верность своей покойной жене, умершей родами лет около десяти тому назад, вместе с ребенком. В саклю не водил, а охотно водил спелых туристок-сорокалеток в шалашик на склоне горы, сухой, чистый и поддерживаемый в состоянии постоянной готовности. Туристки шли. А тем, кто не без опаски интересовался, что это еще за шалаш такой, объяснял: ленинский шалаш. И опасенья в том, что дикий чучмек изнасилует, а потом зарежет или задушит, отпадали сами собой: для советского человека упоминание хрестоматийного случая о сидении Ульянова в Разливе, в шалаше, звучало как забавная семейная побасенка. Злой человек, вахлак, не стал бы обращаться к ленинским примерам.

Иногда в приятных разговорах о Казбеке или же с ним самим проскальзывало и другое название его лесного жилья — Ближний шалаш. В противовес этому, Ближнему, шалаш Дальний не упоминался никогда; может, он и вообще не существовал в природе. Вполне может быть.

Живя один как бирюк, Казбек меж тем не страдал от одиночества. Вдумчивые специалисты по состоянию человеческой души, каких, впрочем, никто покамест не встречал, — такие специалисты определили бы одинокого Казбека как самодостаточную личность, и вовсе не потому, что приходился он отцом двоим сыновьям, один из которых служил в армии где-то на Дальнем Востоке, а второй отбывал тюрзак за разбойное нападение. Нет, не поэтому. Все дело заключалось в том, что Казбек был

всецело природным существом, как дерево у воды на дне ущелья или горная птица. Сфера его размышлений была ничуть не уже, чем у Ньютона, или у Федора Михайловича Достоевского, царствие им небесное, или на выбор у всякого другого смертного. Но ходом мысли Казбек, конечно, отличался от прославленных мыслителей.

— Садись! — сказал Казбек, придвинув ногою, обутой в мягкий кавказский сапог, деревянную скамеечку на коротких ножках, похожую более на приступку, чем на приспособление для сидения. Сам он сидел на такой же, у низкого круглого стола, возвышавшегося на две ладони над земляным полом посреди сакли. Дождавшись, пока гость займет указанное ему место, Казбек достал из-под стола бутылку абрикосового самогона и, прикусив отменными зубами, с натужным скрипом вытянул из нее пробку. Вслед за спиртным на столе появился чурек с нежным брюшком и золотистой спиной, мед на блюдечке и горстка лущеных орехов. Разложив угощенье, Казбек вопросительно взглянул на Семена Быковского.

— Ты вот мусульманин, а водку пьешь, — без укора заметил Семен. — Вам же нельзя.

— А почему? — легко спросил Казбек. И сам же дал ответ: — Все из-за страха. Человек всегда боится: Бога, папу родного или прохожего дурака с ножиком в кармане. Кто не боится, тот вообще не человек.

— А питье? — не отставал Семен. — Водка?

— Бог, наши старики говорят, пить не велел, — сказал Казбек. — Кто водку пьет, того Бог накажет. Понимаешь? Так... Мне, значит, не велел, а тебе можно. Но Бог-то у нас один на двоих, тут никто не спорит! Тогда как же это получается, что одному можно, а другому нельзя?

— Ну, как? — спросил Семен.

— У кого мозги как вареная картошка, — объяснил Казбек, — тот ничего не спрашивает, только боится.

— А ты чего боишься, Казбек? — спросил Семен.

— Что заболею, ноги по горам не будут ходить, — неохотно ответил Казбек. И добавил, упрямо голову пригнув: — А больше ничего. — И слюною сквозь зубы в угол цыкнул.

Чечня была отсюда рукой подать. Казбека занесло в Самшитовую рощу словно бы вольным потоком ветра вскоре после возвращения чеченов из азиатской ссылки. Возвращенец нашел здесь работу — следить за состоянием тридцатикилометрового отрезка дороги, ведущей через перевал вниз, к морю. Он и следил, следил добросовестно, оснащенный тачкой и парой лопат. Лошадь у него была своя, и это облегчало труд обходчика. Жалованья хватало на хлеб с табаком, молоко, уголь да керосин. Все прочее, необходимое для хорошей жизни, Казбек добывал в своих хождениях по горам, вдоль дороги: браконьерскую оленину, горный мед, дикие горные орехи и фрукты для производства самогона. Дорога была проезжей, грунтовой, хотя кое-где встречались на ней и неровные нашлепки асфальта, невесть когда и как тут случившиеся. По дороге двигались с песнями русские туристы и ехали на лошадях верховые из окрестных аулов. Реже встречались автомобили-легковушки и всеми своими сочлененьями дергающиеся на колдобинах полторки лягушачьего цвета. Казбеку не было до проезжих и прохожих никакого дела: они не мешали его жизни.

Дорога вместе с тем давно уже приросла к Казбеку, как часть тела — как зубы или удобная пятерня, и это даже укрепилось в речи местных людей: «Какой Казбек? Это который дорожный рабочий?» или: «Какая дорога-то? Это где Казбек?». Человек и дорога, словом, стали как бы единым понятием, и это было не по душе беспокойному Казбеку. «Нам дорога эта — зачем? — рассуждал и говорил при случае Казбек. — Мы и без дороги этой знаем, куда идти через лес или, например, по ущелью. Ну, тропинка — еще туда-сюда... Дорога вам нужна, вы по ней везете, что вам надо, и сами едете на автобусе». Получалось, что горный Казбек прислуживает русским, без спросу проложившим дорогу через кабардино-черкесские края.

Вот и сейчас, не успел Семен устроиться на своей скамеечке и поудобней подобрать ноги, как речь о дороге зашла сама собой.

— Как дорога? — мимоходом поинтересовался Семен тем самым тоном, каким в начале разговора накатанно интересуются состоянием здоровья собеседника или же погодными условиями, оставляющими, как правило, желать лучшего.

— Да на кой она мне сдалась, — сердито свел брови на переносье Казбек, — кроме зарплаты! А тебе — не знаю, не скажу.

— Ну, мне-то она тоже ни к чему, — оправдался Семен. — Я что? Я до «стекляшки» и так допрыгаю, с камушка на камушек.

— Дороги эти вообще, включая поезда, надо все отменить, — нажал Казбек. — На кой они сдались? Кому надо? Человек должен по земле ходить. А асфальт воняет, и больше ничего.

— А если пешком далеко идти, — разведал Семен, — а машина не проедет?

— На лошади можно, — дал решение Казбек.

— Да у нас в санатории на лошади никто не умеет! — неведомо чему обрадовался Семен Быковский. — А пешком из Москвы не дошагать, и на поезде, ты говоришь, нельзя.

— На поезде нельзя, — стоял на своем Казбек. — На поезде ваши наших отправили отсюда в Казахстан, каждого третьего уморили.

— Как же тогда быть-то? — выискивал справедливое решение Семен. — Ведь больные люди сюда никак иначе не доберутся, а у вас тут климат целебный.

— Ну и пускай дома сидят, — подвел черту Казбек. — От них одна зараза.

— А как же я? — с грустью спросил Семен.

— Ты — другое дело, — ободрил Казбек. — Ты друг... Держи!

Семен протянул руку. Самогон в граненом стакане был хорош, во всяком случае, крепок необычайно: спичку поднеси — вспыхнет голубоватым пламенем. А что запах смертоубойный, так ведь и деликатесный сыр-рокфор не всякому едоку по носу... Разговоры разговорами, но по низкому потолку сакли вился трубочатый змеевик, а в

углу капало в трехлитровую банку из-под маринованных огурцов. И за такой аппарат, возмись за дело милиция, можно было загреметь на зону: дерзкий Казбек со своими дикими лесными абрикосами однозначно нарушал государственную монополию на производство горючего. А что не он один гнал самогонку в Самшитовой роще, то это на судью не подействовало бы никак: ни в хорошую, ни в плохую сторону.

— Тост-то забыли! — смачно выдохнув, сказал Семен. — Градусов под восемьдесят.

— Ну да, — согласился Казбек. — Считай, что за тебя. А то ты какой-то битый.

— Я не битый, — возразил Семен. — Дурной я сегодня.

— Это почему? — покосился Казбек. Глаз его, цвета черной черешни, не выражал ни тревоги, ни сочувствия — как глаз красивой хищной птицы.

— Новый к нам один приехал, — сказал Семен. — Молодой, совсем мальчишка... Жалко мне его почему-то.

— Ну, жалко! — плечом повел Казбек. — Плохо, что ли, его дело?

— Все мы подходим к шлагбауму, — не ответил Семен. — И такого еще не было, чтоб шлагбаум этот заело... Тускло, Казбек!

— Не было такого, чтоб он перед кем-нибудь не поднялся, — кивнул Казбек. — Все там будем... А ты его, этого парня, с кем-нибудь познакомь — у вас там девок вон сколько, сам знаешь. И ему будет занятие.

— Ты бабе палку дай, — горько сказал Семен, — она все груши посшибает!..

Ночная птица закричала за стеной сакли, и Казбек прислушался с удовольствием, как будто это далекий товарищ подавал ему хороший сигнал с гор.

— А ты не давай, — вернулся к разговору Казбек. — Палку — не давай. Пускай так сидит.

— Да я и не даю, — усмехнулся Семен. — У меня и бабы-то нет.

— Как нет! — снова покосился Казбек недоверчиво. — А рыжая твоя?

— Эмма? — Семен глядел серьезно, сумрачно. — Она уезжает скоро. В больницу ее переводят, под Уфу.

— Это где? — спросил Казбек.

— Далеко, — сказал Семен. — Там кумыс. Все уже перепробовали, теперь кумыс. А ей стрептомицин надо колоть.

— Не дают? — спросил Казбек.

— Дорогой очень, — ответил Семен, — да и не купишь нигде. Американский.

— Русским тоже не дают? — удивился Казбек.

— Только начальству дают в спецбольницах. А русские, чечены — это без разницы, Казбек, тут мы все равные.

— Русские всё же поровней будут, — упрямо поправил Казбек и бутылку поднял со стола — наливать.

— Ну, пожалуй, — согласился Семен. — Поровней... От этого нам, думаешь, лучше?

— У нас, когда одному человеку плохо, он к другим идет, — сказал Казбек. — И тогда всем лучше, вместе... А когда уже совсем плохо, человек уходит в лес и там живет. Один.

— Это у вас так, а русских вон сколько — попробуй, собери!

— Я не про русских, — помедлив, пояснил Казбек. — Я про вас. Про чехов.

Дорога до санатория показалась недолгой и легкой: абрикосовый самогон шатался в крови, Семен размашисто шагал, не глядя под ноги. «Про вас, про чехов»... А чем мы, чехи, рассуждал и прикидывал Семен, хуже шахтеров или каких-нибудь рыбаков-охотников? «Чахоточные всех стран, соединяйтесь!» Шахтеров, если они начнут шуметь: тачки плохие, кормежка плохая, — в два счета выгонят с работы и еще посадят. А нас кто куда выгонит? Сколько нас по всему Союзу? Миллион? Два? Это секрет, государственная тайна: советские люди не болеют и не умирают. Но если мы все соберемся в один туберкулезный профсоюз с нашими плёвками и палками Коха — о-го-го, это же сила! Соберемся и потребуем:

хватит кормить нас бесполезными таблетками, хватит поддувать, как лягушек! Дайте стрептомицин! Мы тоже за здоровое общество. Стреп-то-ми-цин! Да здравствуют равные возможности для всех! Нет, это, пожалуй, не стоит: смахивает немного на американский лозунг, за такие дела могут на Колыму укатать, в один конец. А если просто взять и собрать санаторных человек десять, инициативную такую группу тубиков, на это никто и внимания не обратит. Собрать, придумать название, устав — и вперед! Гимн придумать. И потихоньку связаться с другими тубсанаториями, с больницами. Объединиться — не в профсоюз, конечно, а в закрытое, что ли, общество, в орден. Интересно поглядеть, кто рискнет без стука открыть туда дверь и войти.

6

В маслянистом лунном свете Валя ступала уверенно. Каменистая тропинка, попетляв, обогнула забор санатория и, как ручей в озеро, влилась в широкий отлогий склон, очерченный вдалеке горным лесом. Цикады глухо трещали, их варварская музыка стлалась над ночным миром.

Высокая луна плоско высвечивала поляну, куда Валю и Влада Гордина вывела тропинка и по которой они теперь шагали. Поляна была коротко острижена, с проплешинами. В светлое время здесь пасли скот, золотистые кругляки заскорузлых коровьих лепешек были разбросаны по коричневой земле. Поспевая за Валею, Влад немного досадовал, что луна светит так ярко и негде от нее укрыться: ни куста, ни камня. Шли молча. Посреди поляны Валя остановилась.

— Давай посидим, — предложила Валя. — Здесь хорошо.

— Светло как... — пробормотал Влад, опускаясь на колючую землю.

— Все спят давно, — сказала Валя и улыбнулась безмятежно. — Или по кустам прячутся, кто не спит. — И круглым жарким плечом к Владу Гордину прислонилась.

И стало Владу Гордину не до света, не до жизни и не до смерти.

И Валя была нежна и деятельна, ладони ее скользили по плечам Влада, голова его наполнилась медовым светом, медовым и яблочным.

И плавно покалывали спину сухие ости травы.

И плыла легкая лодка где-то выше земли, по тихой воде.

Лодка без гребца.

Страшной всего болезнь ударяет человека в час своего прихода: «Вот я!» Грозное имя болезни нагоняет на душу ужас и тоску, пораженный ударом больше не чувствует себя ни венцом творения, ни царем природы — а только случайной частицей плоти, захваченной болезнью, огромной и безграничной, как смерть.

А потом, если не уходит жизнь и время не превращается в Ничто, рана затягивается пленкой новой реальности и раненый существует в ней по своим правилам и по своим понятиям. Он тянется к таким, как он сам, и в этом замкнутом кругу, в этом тайном братстве с общим языком и общим знанием находит истинный родной дом.

«Самшитовая роща» и была таким братством и таким домом для трех сотен людей — молодых и постарше.

Болезнь сделалась как бы средой обитания, к ней привыкли — как человек привыкает к воздуху, рыба к воде. Все здесь было так или иначе связано с болезнью: утреннее кормление таблетками, обход врачей, процедуры, послеобеденный «мертвый час», даже банный день раз в неделю в качестве обязательного гигиенического мероприятия. Всякое правило, само собою, вызывает противодействие и протест — больные упрямо уклонялись от обязанностей и нарушали санаторный режим. И шла жизнь, не оставляя следов, — как Иисус по водам.

Были больные, были врачи. Врачи были как-никак начальниками, больные — подчиненными. Врачи знали что положено о больных и их беде: по историям болезни, по конвейерным встречам на обходах, в рентгеновских кабинетах и ординаторских. Болезнь была и для врачей

не менее страшной и сокрушительной, чем для последнего тубика, выкашливающего вместе с кровью ошметки собственных легких, — но другая болезнь: рак, например, или инфаркт. А ТБЦ был как бы «своим»: прирученным и относительно безопасным.

Между врачами и больными пролегла заградительная стена, забор, к которому и сами обитатели санатория «Самшитовая роща» не приближались без крайней нужды. Горсточка врачей никак не вписывалась в равноправное братство больных, а лишь примыкала к его опушке: глядела на ближние деревья, не видя леса. Старожилы и завсегдатаи санатория не помнили случая, чтобы врач позвал больного к себе домой на чашку чая или, пробегая в своем форменном белом халате по парку, подсел к знакомым чахоточным на лавочку — поболтать о том о сем под звон цикад.

Можно было понять и врачей, если б это кому-нибудь захотелось. Сидеть безвылазно в дыре месяц за месяцем, год за годом, в этой «Самшитовой роще», на виду у остервеневших коллег, по соседству с тремя сотнями больных — не с кем приятно провести вечер, некуда пойти. Среди больных встречались изредка яркие люди и привлекательные, и вспыхивала светлячком сердечная приязнь — но по неписаному правилу романы между врачебным персоналом и пациентами исключались категорически, санаторный партком во главе с Ревазом Бубуевым глядел по сторонам недреманным дурным оком. Случались, случались тут лирические происшествия, но заканчивались они однозначно: экстренной выпиской больного без объяснения причин. И, глядя на разлив страстей в разогретом болезнью сообществе, врачи испытывали зависть: им можно, нам нельзя. Это еще почему? Уместней было бы спросить: а почему они заболели, а мы — нет? Однако на такой общий вопрос вряд ли можно было подыскать вразумительный ответ. Что же до романов, то с этим было все ясно: нельзя, и все! Мало ли чего еще нельзя на белом свете: переходить улицу на красный свет, слушать по радио «Голос Америки», играть в азартные игры на деньги. Нельзя сомневаться во все-

сильности учения Маркса, потому что оно верно. Нельзя верить в Бога, потому что Бога нет, это доказано наукой, а кто все-таки верит, тот находится в плену пережитков старины, и за это могут уволить с работы.

Галина Викторовна, лечащий врач Влада Гордина, считала, что жизнь должна строиться на разрешениях, а не на запретах, но мнение свое держала при себе. В свои двадцать шесть лет она твердо усвоила, что возражать против общепринятых правил и спорить с начальством — дело не только бесполезное, но и опасное. Усвоила она это не с чужой подачи, а на собственном кислом опыте. Еще студенткой Пятигорского мединститута Галя Старостина написала в стенгазету статью о том, что американская джазовая музыка происходит от чернокожих рабов и поэтому близка душе раскрепощенного советского человека, устремленного в будущее. Такой пассаж заставил призадуматься факультетское начальство, Галя была заподозрена в моральной неустойчивости и низкопоклонстве перед Западом; шутками тут и не пахло. На общем собрании студентов встал вопрос о ее исключении из института, и то, что она отделалась строгим выговором с предупреждением, стало делом чистой удачи: представитель райкома комсомола был настроен непримиримо, проштрафившуюся Галю спасло ее безупречное социальное происхождение и, в меньшей степени, успехи в учебе. Урок, надо сказать, пошел впрок: с тех пор Галя предпочитала помалкивать и статьи в газету больше не писала никогда. Стихи — да, те писала, но их только ленивый не сочиняет в нежные годы, в ожидании большого чувства, которое негаданно нагрянет, когда его совсем не ждешь. Прошелестело время институтской учебы, настал Судный день распределения выпускников. Галка получила направление в Самшитовую рошу, в тубсанапаторий, и безропотно приняла свою судьбу; впрочем, с ее джазовым пятном в «личном деле» она и не надеялась на то, что ее оставят в Пятигорске, а не зашлют куда-нибудь на периферию. Галина Викторовна Старостина, таким образом, была начинающим советским человеком, обтекаемым в меру. Годам к тридцати она, оттянув по-

ложенный кандидатский стаж, незаметно влилась бы в ряды полноправных членов КПСС и уже в этом качестве дожидалась без потрясений выхода на пенсию и на заслуженный предсмертный отдых.

Интерес к Владу Гордину появился у Гали Старостиной в день его приезда: кого это еще подселили к негру? Простого человека, это понятно, не поселят в двухместную палату, да к тому же в женский корпус. Водворение Влада, таким образом, стало событием, маленьким, но событием в жизни санатория «Самшитовая роща»: здесь редко случалось что-либо заслуживающее внимания. И вот Влад Гордин появился, и это было отмечено врачами, медсестрами, нянечками и, в меньшей степени, хозяйственной службой, озабоченной житейскими насущными проблемами: приехал новенький, то ли сын какой-нибудь столичной шишки, то ли сам из начальства. Откликнулись на событие и больные: женщины с суетливым любопытством, а мужики угрюмо и не без зависти. Всяк согласился бы вот так, за здорово живешь, переехать в женский корпус, к негру. А Галя Старостина в своем кабинете, в корпусе, достала из белого железного шкафчика папку с историей болезни новенького и внимательно ее прочитала. Значит, журналист, как интересно... Диагноз, поставленный московским специалистом, ничуть ее не обескуражил: встречались у нее такие больные, Гордин не первый. Полгода он тут пробудет обязательно, наберется сил, окрепнет, а потом уже в больницу, для продолжения лечения.

Влад Гордин ничего не знал о том, что написано в истории его болезни, это был почему-то секрет, секрет страшный.

Самым главным хранителем секретов в санатории «Самшитовая роща» был директор Реваз Бубуев. Такая осведомленность полагалась Бубуеву по должности: с медицинским директорством он сочетал председательство в парткоме и являлся бессменным членом бюро райкома партии — как нацкадр и преданный коммунист. Его побаивались и больные, и врачи, он знал все или почти

все обо всех: кто что сказал, кто с кем спит, кто какие письма пишет и получает. Реваз организовал в санатории образцовую стукаческую службу, к нему шли с отчетом, для доверительной беседы, как к куму на зоне. Сведения же о самом Ревазе Бубуеве были расплывчаты: дубина и дубина...

В лечебный процесс доктор Бубуев не вмешивался; у него были другие заботы, поважней, — например, удержать переходящее Красное знамя от переноса на турбазу или в местный колхоз «Орел Октября». Бархатное это знамя с профилем вождя, лентами и кистями стояло в углу директорского кабинета, и вынести его оттуда можно было, только переступив через труп хозяина. А умирать Бубуев не собирался.

Жил директор в двухэтажном особнячке, холостяком, в отдаленной части парка. Сильные и красивые заросли примыкали к забору, в котором были устроены ворота для прямого проезда к бубуевскому дому. С кем он там жил и как — об этом ходили лишь слухи, обильно плодившиеся на плодородной санаторной почве: врачей туда не звали, а больные держались от греха подальше — предпочитали романтическое общенье в густых кустах или на коровьей поляне. Специальные же ворота отпирал перед машинами частых гостей молчаливый лезгин-привратник: ехало райкомовское начальство, а иногда и областное — с ночевкой. Доподлинно было известно, что вместе с лезгином проживает в особнячке усатая повариха, она трижды в неделю являлась на санаторную кухню, на продуктовый склад, и тащила оттуда парное мясо, овощи, консервы — все, что было ей надо, то она и тащила. Поговаривали, что по спецприглашению навевывалась в коттедж трючка-четверочка молодых больных веселого пола, но кто об этом знал безошибочно, тот молчал, включая и самих визитерш.

С подчиненными и подведомственными держался Реваз Бубуев свысока, как небесный громовержец, как Карл Маркс; это получалось у него вполне естественно. Он был высшая власть: директор, партийный начальник и народный депутат со значком на лацкане — все в одном

лице. К нему никто тесно не приближался, вопросами не докучал — что надо, он сам сделает и скажет, без понуканий. Словом, Реваза и его дымчатое окружение, включая усатую повариху, можно было смело числить небожителями, в то время как больные являли собою низовую народную толпу, черную косточку туберкулезного мира.

7

Для русского человека банный день — не просто число календаря, а событие нерядовое, почти праздничное. Речь идет, разумеется, не о ленивом барахтанье в ванне с теплой водицей, а о коллективном походе в баню: о приготовлениях, приятельских разговорах в предбаннике, общении с пространщиком, тщательном мытье в мыльной пене, окачивании из шаек, напряженном сидении и лежании на полках парной и, наконец, о заключительном распитии пива и водки за дружеским столом. По мере укрепления империи — вначале царской, затем советской социалистической — банные страсти распространились на пристяжные народы и благотворно ими овладели: парились и нахлестывали себя березовыми вениками татары и мордва, казахи и жмудь, не отставал и друг степей калмык. Чукчи в своем ледяном отдаленье остались неохваченными по причине отсутствия бань и решительного неприятия водных процедур; над горячим мытьем возобладали древняя привычка смазки телес моржовым жиром.

Если всмотреться попристальней, в этой тяге к воде, хотя бы и к кипятку, угадывается историческая память, обращенная к крестильным действиям Иоанна в еврейской Иордан-реке, и более близкая, генетическая, связанная крепкими льняными нитями с драматическим днепровским купанием киевлян под управлением Владимира Красное Солнышко. Да и древние бродячие иудеи окунались с головкой в свои бассейны не только того ради, чтобы смыть трудовой пот, но и очиститься от скверны, и, выйдя из воды, почувствовать себя об-

новленными и дышать чистой счастливой грудью... По нынешним временам скверна остается, а дыхание обновляется, если, конечно, перегрев и перепой не доводят купальщика до летального исхода. Но на миру ведь и смерть красна, особенно в праздник.

А солдаты! Как они маршируют с бодрю песней на устах и с бязевыми узелками под мышкой в баню из своих казарм! Как топают потом, после мойки, прямым ходом в консерваторию для проведения культурного досуга, чтобы праздничная атмосфера не сразу рассеялась и развеялась вместе с клубами пара! Ангелам, добрым небесным ангелам подобны голые люди в банном пару, в то время как едкий дым — обиталище чертей.

В банном корпусе, или, вернее, бараке, санатория «Самшитовая роща» не было ни пространщика с бутербродами, ни мраморных скамей, ни лежанок «под мрамор». Оцинкованные шайки, те — да, были, несколько погнутые и битые. Был и пар, парок, плывущий от вкрученных в потолочную трубу круглых, как на лейке, насадок, из которых бежала, а временами даже и была горячая вода. Барак не был разделен на кабинки, это было ни к чему. Моющиеся стояли тесно друг к другу, намыливаясь или, напротив, смывая мыльную пену. То было коллективное действие, оставлявшее, однако, место для индивидуальных ощущений.

Банный день был назначен кем-то в отдаленные времена на пятницу, и так оно и шло. С утра мылись мужчины, а после обеда — женщины. В другие дни недели банный барак был заперт на замок. Почему мылись раз в неделю, а не дважды или даже через день, никто не знал. Надо сказать, что такой вопрос никому не приходил в голову.

Влад пришел мыться с утра, до завтрака. Впускали группами, на лавочках перед входом в барак ждали своей очереди человек пятнадцать. Под мышками ожидающих белели полотенца с завернутыми в них бельем и брусочками мыла. Сидя посреди народа, Влад Гордин оглядывался с любопытством: новые лица, молодые и постарше, настроение благодушное, как будто за по-

дарком пришли сюда, а не на гигиеническую процедуру. Еще человек пять подойдут, и будут запускать.

Рядом с Владом дождался своей очереди парень лет двадцати с небольшим, худощавый, с коротко стриженными ржаными волосами.

— Я тебя в столовой видал, — сказал парень и добавил без перехода, без зависти: — Как там у вас, в женском?

— Да нормально, — отозвался Влад. — А ты в каком?

— Второй корпус, — сказал парень и руку протянул — знакомиться. — Женя.

— Сам откуда? — спросил любопытный Влад Гордин. О чем тут еще можно спрашивать — какое легкое дырявое, правое или левое?

— Из Одессы, — ответил Женя, и Влад отметил удовлетворенно: новый знакомец говорит «из Одессы», а не «с Одессы». Наверно, студент.

— Был я у вас там, — сказал Влад. — На Приморском бульваре ночевал, на лавочке. — И, поймав недоверчивый взгляд Жени, охотно объяснил: — Денег не было ни копейки. Я из Сухуми на «Адмирале Нахимове» без билета приплыл и на бульваре с одним стариком познакомился. У него, у старика этого, были весы, белые такие, и он людей взвешивал, если кто хотел. Недорого брал, по пятаку, что ли, за взвес.

— Ну, знаю, — подтвердил Женя. — Весы, а к верхней планочке привязан ручной эспандер, проверять силу кисти.

— Точно! — обрадовался собственным воспоминаниям Влад Гордин. — Эспандер! Так я с этим стариком договорился, водил к нему клиентов. Подхожу к какой-нибудь парочке, говорю: «Не хотите ли померяться силой на эспандере? Вот тут, рядом». Парень перед девочкой выступает, он ведь не знает, что я одной правой до ста килограммов жму. Ну и шел, конечно. Парень жмет шестьдесят, а я — семьдесят. Он кипитится, жмет уже семьдесят, а я — восемьдесят. И так далее, в том же духе. И за каждый жим дополнительный пятак... Старик мне половину навару отдавал, набегал примерно рубль.

— И долго ты там ночевал? — спросил Женя, увлеченный, как и Влад, воспоминаниями из той, прошлой жизни.

— Дней пять, — сказал Влад. — Потом швейные машинки таскал по всему городу, и мне хозяин за это купил билет на поезд, до Львова. Короче, путешествовал я.

— Да, Одесса... — протянул Женя, и непонятно было, то ли он снисходительно прощает свою родину, украшенную лукавым стариком на бульваре, то ли тоскует по ней и желает как можно быстрее там снова оказаться. — Машинки, что ли, ворованные? У нас там швейную машинку ни за какие деньги не достать, я имею в виду в магазине.

— Может, конечно, и ворованные, — рассудил Влад Гордин, — на них ведь не написано. Меня один дядька нанял таскать, у него все зубы золотые — от и до.

Женя уже заканчивал свой санаторный срок, через неделю он должен был ехать домой.

— И долго ты тут просидел? — спросил Влад.

— Три месяца, — ответил Женя. — Теперь до будущего года.

Ну вот, рассуждал Влад Гордин, сидя на лавочке рядом со своим новым знакомцем. Три месяца. Вполне нормальный человек: просидел три месяца и едет домой. Не умер, и в больницу его не забрали. В конце концов, некоторым везет. Некоторые после выписки даже идут своим ходом в Сухуми через перевал. А то, что через год придется сюда возвращаться, — так ведь хроники они и есть хроники: у одних астма, у других туберкулез, а третьи вообще съехали с катушек и не вылезают из дурдома. Не так все темно, если взглядеться получше. И Валя...

Очередь сидела смирно, никто не нервничал и не возмущался: спешить было некуда, да ведь и не пиво же наливали за дощатыми дверями моечного отделения. Утро выдалось ясное, словно бы тонкого золотистого стекла. В прозрачной тени деревьев ожидающие терпеливо переговаривались перед входом в барак. Наконец дверь отворилась. На пороге стоял босой дядька в мокром клеенчатом фартуке поверх трусов.

— Давай, заходи! — пригласил дядька.

В проеме за его спиной темнело чрево барака, располованное неровным пунктиром тусклых электрических лампочек. Казалось, что не душевая там помещалась, а бездна ночного неба, расцвеченного редкими звездами, и тянуло тревогой неизвестности. Владу вспомнилось почему-то описание немецких газовых камер: сумрак, теснота, шипит отравы в круглых насадках над головой... Он покривил лицо и, прогнав страшную картину, ступил за порог.

Больные, приплясывая на одной ноге, поспешно сбрасывали одежду и складывали ее кучками на низкую длинную скамью. Шелест нетерпенья стоял в предбаннике. И вот дядька в переднике повернул какую-то рукоятку на железной трубе, и душевой зал, не разделенный на кабинки, вмиг наполнился живым шумом падающей воды. Голые ринулись вперед. Стоя под витыми шнурками горячей воды, они блаженно жмурились и взмахивали руками. Некоторые уже деловито намыливались с головы до ног. Хлопья пены неслись с водою по полу и исчезали у дальней стены в круглых зарешеченных стоках.

— Сейчас-то хорошо, — услышал Влад Гордин голос Жени. — Раньше решеток не было на дырках, а скользко. Один тут поскользнулся, ну и в дырку по колено. Ногу сломал в двух местах... Мочалку хочешь?

Женя стоял совсем рядом, мыльная пена покрывала его как доспехи. Вот он сделал шагок, вода обрушилась на него, обнажая распаренную розовую кожу. Влад взгляделся, замигал. Шнурок шрама опоясывал туловище Жени, тянулся от соска до лопатки — в мизинец толщиной багровый рубец, оставленный ножом хирурга. Стало быть, человека вот так разрезали, как банан, развалили на две части, а потом снова свели воедино: живи дальше! И он послушно живет: вспоминает Одессу, ходит в баню. На улице, на лавочке, невозможно было догадаться, что творится у Жени под рубашкой: человек как человек. А рука-то правая висит, ну если и не висит, то все же отличается от левой — плечи скособолены. А что там внутри,

в груди — об этом лучше не думать. Этот одессит, Женя, калека на всю оставшуюся жизнь. Что там у него нашли в легких, чтоб так его расчекрыжить? Рак? Мину? Чем вот так, лучше совсем не жить, прикрыть лавочку...

Влад оторвал взгляд от рубца, огляделся. Озираясь, он всматривался с пристрастием. Вон еще один со шрамом и еще... И этот, плешивый, намывается с ног до головы левой рукой, а правую для удобства прижал к груди — не работает у него, как видно, правая. И ведь всех не разглядишь не сходя с места.

— Вот куда бы я поехал, — услышал он Женю сквозь воду и пар, — так это в Китай.

— Куда-куда? — переспросил Влад Гордин.

— В Китай, — повторил Женя. — Там знаешь, сколько китайцев живет? Миллиард!

— Ну и что? — сказал Влад. — Хоть два. Тебе-то что? — Он вдруг стал испытывать настороженность к этому Жене, как будто тот со своим рубцом был существом немного иной породы, чем он сам.

— Ну и вот, — жестко и неоспоримо продолжал Женя. — Из них три процента — богатые люди, считай, богачи... Сколько это получается?

Влад, дивясь, попытался прикинуть. Сначала один процент, а потом помножить на три. Сколько там нулей-то, в миллиарде? Без бумажки не обойтись.

— Получается, — опередил Женя, — тридцать миллионов. Тридцать миллионов богачей! И все китайцы, один к одному.

— Да, — согласился Влад Гордин. — Много, конечно...

— В том-то и дело, — сказал Женя. — Очень много. И если к ним ключик правильный найти, можно заработать кучу денег. Вагон и еще маленькую тележку. Поэтому я так хочу в Китай.

— Так ты, — предположил Влад Гордин, — хочешь этих китайцев взять за вымя? Они ведь тоже не дураки.

— Были б дураки — не разбогатели бы, — жестко подвел черту Женя. — Дурак — он и в Китае дурак, это понимать надо. — Он говорил о Китае и его обитателях

требовательно, почти сердито: как будто это была его поднадзорная территория и вдруг, неожиданно-негаданно там обнаружились какие-то недочеты.

Меж тем банщик в клеенчатом переднике начал проявлять нетерпение. Он пошлепывал рукою по крану, покрикивал:

— Давай-давай! Веселей, орелики! Вона еще подгрести! Тут вам не Сочи!

Нет, не Сочи, и орелики битые-резанные. А так вроде все в ажуре: кругом красивый Кавказ, советские люди моются в душе, коллектив санатория «Самшитовая роща» под руководством товарища Бубуева полным ходом топает к вершинам коммунизма.

Пусть себе топают, куда дорога лежит. У него, у Влада, рука не висит, и в Китай его не тянет. Он, Влад Гордин, хочет лишь одного: выбраться отсюда, из этого дикого зверинца, вернуться к нормальным людям — без хирургических рубцов, без плёвок и без тайного позора проклятой болезни.

Он вышел из душевой в зеленую тень парка, щелчком выбил сигарету из оранжевой пачки и закурил. Огибая рослые деревья, Влад шагал не спеша, бесцельно и бездумно — куда глаза глядят. Серый дымок плелся за ним по пятам. Влад уселся в траву под деревом, обхватил тесно согнутые в коленях ноги и прислонился спиной к теплому стволу, к его дружелюбной коре. Случайные отрывочные голоса долетали издалека — с главной аллеи и от столового корпуса.

«Надо отсюда сматываться, — раздумывал и рассуждал Влад Гордин. — Тут если не зараза, то такие вот картинки со шрамами окончательно приделают нормального человека. Горы красивые, это да, не то что какая-то степь или даже море. А что море? Та же степь, плоская, как стол, только из воды. “Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет” — лажа, чепуха. Как раз дурак не пойдет, будет сидеть на лавочке. И дело тут ни в каком не в уме, а в характере: в горах за каждым поворотом новый мир и вообще ближе к Богу. Сидишь себе в седле, едешь по ущелью, в одной руке у тебя повод,

в другой — плеточка. Вершины подо льдом, на отрогах облака, как овечьи отары. Кто это написал: “...высок пред пешим конный, и с лошади прискорбно слезть”? Сказка. И здесь тоже сказка, в Самшитовой роше, только тубики портят вид, как та самая ложка дегтя. Жуткие ребята, если прищуриться получше! Все без исключения, и я, Владик, в их числе. Единственное, что остается, — плюнуть на все, уйти в горы повыше, а там уж как получится...»

Вблизи затрещал кустарник, как будто кабан продирался сквозь сухие заросли. Влад, не поднимаясь с земли, всмотрелся: мужичок лет сорока сосредоточенно волок за руку простоволосую задастую тетку, послушно ступавшую. Они остановились на прогалинке, дядька опустил женщину в траву, стер рукавом с лица паутину и степенно вытянул из кармана бутылку портвейна. Пристроившись рядом с теткой, сидевшей как тряпичная кукла, он наискось стукнул доньшком о землю и вышиб пробку из бутылки. Потом, отхлебнув из горлышка, протянул бутылку своей простоволосой спутнице.

«Наши, — не спеша рассуждал и раздумывал Влад Гордин, — санаторские. Ну конечно. А кто еще сюда попрется, в самый эпицентр? Если тут микроб в воздухе летает как ворона? Ключнет — и конец тебе: и разрежут, и зашьют. Наши, сразу видно! Сейчас они допьют, и он ее завалит. И это тут называется — “кустотерапия”; мы, тубики, на этот счет очень проворные. Где он ее только нарыл, эту курдючную тетку! А ноги-то, ноги: какие-то сиволапые и в вертлюги засажены наискось. И все здесь такие, все. Одна кривоногая, другая вообще хромая. А Валя? Ну, Валя... Бывают же исключения из правил, иногда попадают для полноты картины.»

Дядька дохлебал вино и бутылку забросил. Потом налег на свою спутницу, и их почти не стало видно в сочной кавказской траве. Влад Гордин вслушался. Из травы доносилось глухое сопенье и урчанье, полное теплого секретного смысла, как будто делалось там всемирно важное дело, от которого зависит ход жизни и смерти. И Владу вдруг до колотья под грудь захотелось ока-

заться на месте этого дядьки, на плоско раскидавшейся курдючной, в траве, вместе с жуками и личинками.

И время сбилось с шага — то ли окаменело, то ли во все исчезло без следа с той полянки. Глядя перед собой, Влад не чувствовал его уверенного движения; он словно бы оказался вдруг среди звезд, вровень с ними, а санаторий «Самшитовая роща» остался в другом мире.

Высокий отчаянный писк послышался на прогалине — одинокий вскрик рождения или бесповоротной смерти. Время вернулось в свое земное русло и пошло. Влад Гордин вслушивался.

— Мышонка задавила, — шаря под собой, сообщила женщина. — Говорила тебе, в беседке лучше: там хоть доски.

Мужик сполз со своей подруги и хмыкнул.

— Надо ж! — удивился мужик. — А чего он туда залез?

Они поднялись и засобирались, оглядывались по сторонам перед уходом, как будто могли что-нибудь позабыть здесь, на проплешинке, в этот свой короткий привал.

Поплелся, не разбирая пути, и Влад Гордин, пока не вынесло его на центральную аллею, ведущую к административному корпусу. У входа в корпус сидели на лавочке и расхаживали взад-вперед туберкулезники, явившиеся сюда каждый по своей надобности: оформить выписку, получить посылку из дома или пожаловаться на соседа по палате. Административный корпус служил как бы средоточием всех возможных властей «Самшитовой рощи»: исполнительной, законодательной и судебной. Администрация надежно отгораживала верховного правителя Реваза Бубуева, небожителя, от его клейменных доктором Кохом подданных. Никому из них и в голову бы не пришло не то что обратиться к нему с просьбой или жалобой, но и подойти близко. Да он редко и показывался.

Среди отиравшихся у дверей мелькала, как красногрудый снегирь среди жухлых листьев, разбитная стройная бабенка лет тридцати, не больше, то ли возбужденная чем-то, то ли немного пьяная. С оттопыренными локтями, чертя восьмерки, она и пританцовывала, и припевала на ходу. Молчаливые ходатаи, среди которых она

вертелась, глядели на нее без интереса, но и без особого раздражения, как на муху или жука. Широкая шелковая юбка бабенки вилась вокруг ее ног и вспыхивала алыми маками.

— Шалава, — услышал Влад голос Семена Быковского за своей спиной. — Наша туберкулезная шалава. Дочка председателя райпотребсоюза, кстати, из Краснодара. И что позволено Юпитеру, то не позволено быку.

Бабенка тем временем поставила ногу на пенек, откинула подол юбки с коленки и запела приятным голосом, прихлопывая в ладошки в такт частушечной мелодии:

Эта девка хороша,
Эта тоже хороша,
А третья требует врача —
У ней не держится моча!

— Хорошо поет, — заметил Семен Быковский. — Главное, душевно очень... У тебя голова мокрая. С легким паром, что ли?

— Точно, с легким, — кивнул Влад. — И с правым, и с левым... Я парня одного в душе видал, у него шрам от соска до лопатки, хоть в кунсткамере его выставляй. Как пилой пилили. И таких пиленых человек пять или шесть.

— Резекция легкого, — определил Семен. — Не обязательно целиком, может, только долю дырявую сняли. Это бывает. А что?

— Да ничего, — сказал Влад Гордин. — Ничего особенного... Жил-был человек, потом его вспороли и отпустили. И рука висит.

— Ну и что? — рассудил Семен. — Тело как пальто: можно его протереть, прожечь, разорвать. Дерни за рукав, он и повиснет. Или пуговицу оторви, подпори подкладку. А? Не так разве? А потом пальцецо твое зашивают иголкой, приводят в порядок, и оно служит и служит... Шрам! Ну шрам. У кого от скальпеля, у кого от финки. Или вообще осколком зацепило на войне.

— Ну нет, — зло прищурился Влад Гордин. — Спасибо, не хочу... Чем так, лучше околеть. Чем убогим оставаться.

— Это ты по запарке так говоришь, — тихонько укорил Семен. — «Рука висит»! А тебе что — по деревьям лазать? Ты ведь не обезьяна. И резекция тебе не грозит, у тебя другое.

— Да, другое, — принял Влад. — Сегодня — другое, а завтра не известно, что будет. Ты сам, что ли, не знаешь? Просто я говорю, что не соглашусь, и все. Не хочу, это мое право.

— Тебя силой никто и не потащит, — сказал Семен. — Подпись твоя нужна на операцию, без этого не берут.

— Откажусь, и все, — с мрачной радостью продолжал Влад Гордин. — Уйду вон в горы, купаться буду, загорать с утра до ночи — все, что нельзя. Пить буду. И умру.

— Пойдем вместе, — то ли пошутил, то ли всерьез сказал Семен Быковский. — Чтоб тебе скучно не было.

8

Лошадь под Казбеком шла ходко, ровной размашистой рысью. Седло, ладно подогнанное, на плотном, в палец толщиной войлочном потнике было обтянуто кожей цвета ореха. Светились частой золотой строчкой, обегая низкую округлую заднюю луку и переднюю, высокую и узкую, выпуклые шляпки гвоздей.

Тропа, скорее козья, чем конная, шла в гору. На ней и не видно было желтых пятен расклеванного птицами конского навоза — обычного знака глухих проезжих дорог, по которому редкие путники проверяют направление: не сбились ли, не свернули ли ненароком в совсем уж забытую сторону пути. Сверху тропа была закрыта, запечатана деревьями леса, ветви которых надежно сплелись над нею, как пальцы рук. Да она и с двух шагов с земли была почти неприметна. Человек, покачивающийся в седле в этом зеленом коридоре, испытывал сказочный покой души и покорную зависимость от мира — его гор, тишины и неба.

Я ездил по таким тропам, я знаю.

Тропа шла в гору. Лошадь, поставив уши торчком, высоко несла голову на крутой мощной шее; селезенка лошади мягко пощелкивала на ходу. Привычно слушая тишину, Казбек поглядывал вперед: до шалаша оставалось километра три.

В отличие от Ближнего шалаша, куда Казбек водил любознательных туристов, этот назывался — Дальний. О его существовании мало кто знал, а те, кто знал, держали свое знание под замком. Дальний шалаш стоял слева от дороги, в низинке, в глубине зарослей, и напоминал скорее приземистую тайную кибитку, чем хлипкое пристанище косарей. С тропы, с пешей или же конной высоты, случайный путник не мог различить в райском буераке ровным счетом ничего.

У расщепленного молнией горного дуба Казбек взял повод влево и свернул в чашу. Пригнув голову и локтем закрывая лицо от веток, он вскоре подъехал к своей берлоге и сошел с седла. В кибитке никого еще не было; Казбек отодвинул деревянный засов, заменявший замок, и вошел.

Внутри было чисто, сухо и неожиданно просторно. Здесь без толкучки могли разместиться человек пять-шесть, рассестся вокруг камелька, выложенного камнями. На земляном полу, без прорех застланном козьими и овечьими шкурами, стояли у стены топчан, эмалированное ведро для воды и большой, закопченный по бокам медный чайник, поивший не одно поколение людей. Под топчаном, под шкурами, лежала завернутая в промасленную мешковину снайперская винтовка Мосина калибра 7,62 мм, оснащенная оптическим прицелом Д-3. Казбек не зарывал винтовку в землю, не прятал ее в кустах, справедливо полагая, что, если случится беда и нагрянут сюда незваные визитеры в синих погонах, обязательно найдут они и оружие — все тут разнесут и перероют, но найдут.

Неторопливо оглядев помещение, Казбек прихватил ведро и вышел наружу. Ключ бил из замшелой скалы в полусотне метров от порога, струйка быстрой воды падала в ведро с приятным шумом. Вернувшись с водой, он

развел огонь в камельке и повесил чайник на треногу. Оставалось ждать. Сидя у огня, Казбек следил за языками пламени, как будто внимательно изучал их повадки. Он любил смотреть в огонь, костер представлялся ему прирученным и полезным, но по природе своей диким животным, вроде собаки или лошади.

На этот раз хозяин Дальнего шалаша ждал троих гостей. Разговор предстоял серьезный. Один из гостей, аварец по имени Муса, числился в бегах вот уже семь лет; милиция разыскивала его, но без особого рвения: четверо служилых, подобравшихся слишком близко, сложили головы под пулями абрека. В немилость к властям Муса попал не по причине длинного языка или дурного характера, а вот почему: аварец зарезал кинжалом районного судью. Окажись судья местным — лакцем, чеченцем или, еще лучше, тем же аварцем — происшествие не получило бы политической окраски с националистическим оттенком, и дело покатило бы по совсем другим рельсам. Но судейский был чисто русским человеком, к тому же членом бюро партийного райкома, и все встало с ног на голову. Мусу объявили опасным преступником, идеологическим диверсантом, и ему не оставалось ничего иного, кроме как уйти в горы. С дюжину таких, как он, вспылчивых людей одиноко бродили по горам Кавказа и наводили страх на местные власти. А жители горных аулов знали их всех поименно и рассказывали о них героические истории своим маленьким детям на сладкий сон при свете коптилок под каменными крышами саклей. Такие абреки водились в здешних местах и до сталинской высылки, и после нее, и при царе, и раньше. Абрек во все обозримые времена был знаком гордой свободы и безукоризненного благородства души.

Теперь уже многие забыли, а все это дело началось с жеребца. Советская власть разрешала гражданам иметь кобылу или мерина, ездить на них верхом или же запрягать в телегу, а жеребец был тем же приказом почему-то запрещен для личного пользования. Допытываться, какая причина лежит в основе запрета, никому в голову не приходило: у кого спрашивать-то? А и пробьешься к

начальству, тебе объяснят: «Написано — выполняй, не умничай!» Некоторые умники все же так понимали приказ, что государство тут против жеребцов: они, мол, покрывают кобыл, поэтому владельцу жеребца полагается за услугу четвертной, и вот уже налицо подсудное частное предпринимательство. Другого объяснения ни дураки, ни умные подобрать не умели.

Жеребец Мусы был хорош — этим все сказано. К этому коню многие присматривались, одни с восхищением, а иные и с завистью. И всякому было ясно, что своего жеребца Муса не продаст ни за какие деньги. Однако чего нельзя купить, то можно украсть. Муса понимал это очень хорошо и глаз с коня не спускал. Но и районное начальство тоже знало толк в лошадях; каурый красавец мозолил им глаза, а неприступность его хозяина вызывала раздражение и смахивала на неуважение к советской власти. Действительно, где это видано: под каким-то Мусой ходит такое ядерное сокровище, а партийные начальники объезжают свои районные владения на смиренных кобылах.

Решено было дерзкого Мусу прижать-припугнуть, и сделать это поручили судье.

Судья взялся за партийное поручение с жаром. Он вызвал Мусу к себе в райсуд и, неприязненно глядя, объявил:

— Ты на жеребце ездешь, а это нельзя по закону. Вот тебе двадцать четыре часа, и чтоб ты его к завтраму кастрировал. Все ясно?

— Зачем обижаешь? — начиная закипать, спросил Муса.

— Сказал тебе — по закону! — повторил судья с нажимом. — А не сделаешь — лошадь конфискуем, а тебя посадим. Теперь ясно?

— Ясно, — сказал Муса и пошел из кабинета.

Вечером того же дня Муса подстерег судью у ворот его дома и, ни словом не продолжив утренний разговор, убил обидчика одним ударом кинжала в левый бок. И ушел в горы. Смелчак не задумывается над последствиями!

Вот этого-то Мусу и ждал в гости Казбек в своем Дальнем шалаше. И еще двое молодых людей должны были приехать из неблизкого аула: овечий пастух Мурад и Джабраил — студент Бакинского университета, обучавшийся там истории.

Первым явился Муса. На вид ему можно было дать лет шестьдесят с небольшим. Сухошавый и ладный, он вошел без стука и сбросил со спины тяжелый мешок, сшитый из переметной сумы. Этот мешок, с которым он никогда не расставался, составлял часть легенды об абреке и, занимая почетное место в рассказах о нем, сам по себе был знаменит: вмещал все имущество Мусы и весил добрых полцентнера. Таскать его с места на место по горным тропам пожилому Мусе, передвигавшемуся, после того как легендарный жеребец пал с миром, только пешком, было нелегко. И эта непреклонная стойкость добавляла славы беглецу.

— Пора начинать! — усевшись на низкую скамеечку и вытянув ноги к огню, сказал Муса. — Время идет.

— Кавказское время — как мед, — откликнулся Казбек. — Я тебя год не видал, а ты все такой же.

— Да, — согласился Муса, — это правда. Стареют только молодые, а мы остаемся как есть. Молодые хотят начинать.

Они говорили по-аварски, дружелюбно поглядывая друг на друга. Щелкающие звуки речи напоминали автоматную стрельбу в горах.

— Молодые сейчас подъедут, — сказал Казбек. — Я так считаю, что они сотню человек наберут из шести аулов. Целое ущелье, сверху донизу. И овец под полторы тысячи голов.

— Страна, — кивнул Муса. — Каждое ущелье — страна. Пора начинать, и люди со всего Кавказа к нам сами побегут.

— Кроме этих жирных котов с побережья, — пробормотал Казбек.

— А кому они нужны? — вспыхнул Муса. — Да там наших почти нет, одни русские: кто на песке валяется, кто водку пьет.

— Да, море нам ни к чему, — сказал Казбек. — С нас гор хватит.

— Камень с горы надо толкнуть, — произнес Муса и замолчал, словно бы вглядываясь в тех, кто придет к ним, и пересчитывая их: раз, два, сто. — Потом он сам покатится.

Вскоре подъехали Мурад с Джабраилом — верхами, так что подлесок затрещал.

— Ишь шумят, — посетовал Муса. — Тише надо ходить, тише...

Молодые люди рядом со старшими, особенно легендарным Мусой, чувствовали себя скованно: горный Кавказ — не сухумский пляж, здесь работают другие законы. Сухумский пляж, выложенный загорающими иностранцами, развязал бы ребятам языки и руки.

— Проходите и садитесь, — указал Казбек. — Мурад, бери вон стаканы, налей чаю. Лепешки в мешке, доставай.

Тут, в Дальнем шалаше, среди своих, он мало чем напоминал Казбека из Самшитовой рощи, запанибрата распивавшего абрикосовый самогон с туберкулезным Семеном Быковским.

— Я слышал, русский памятник у въезда в Гуниб снова спихнули в пропасть, — сказал Муса. — Ваша работа?

— Наша, — подтвердил Мурад. — У нас там ячейка, шесть человек, а штаб в Хиндахе.

— Хорошо, — похвалил Муса. — Нам русские с их памятником в Гунибе ни к чему. Как они новый памятник снизу привезут, вы его опять спихните. — Муса усмехнулся, улыбка рассекла его лицо чуть наискось, и блеснули зубы. — Как это у них там называется?

— «Наглядная пропаганда» это называется, — сказал Джабраил, студент. — Вчера был памятник, а сегодня его уже нет. Как так? Да вот так!.. Наши люди смотрят, радуются.

— Очень хорошо, — похвалил Казбек. — А русские начальники в Москве думают, что у нас тут как на партсобрании: все «за».

— Пускай так и думают, — кивнул Муса. — Они сопли распустият до колен, а мы тут как раз и ударим и выкинем их с Кавказа.

— Они думают, — со вкусом повторил Казбек, — что тут все тихо, что без их приказа у нас и трава не растет... Растет! — Он взыскательно, одного за другим оглядел Джабраила и Мурада.

— Еще они думают, — в тон хозяину сказал Мурад, — что их какой-то генерал взял в плен нашего имама Шамиля. Раз на этом памятнике так написано, значит, мол, так оно и есть.

— Оскорбление! — сказал, как припечатал, Муса.

— Они там пишут: «На этом месте генерал от инфантерии князь Барятинский пленил Шамиля», — дал справку Джабраил. — Врут.

— Он знает, — кивнул Казбек на Джабраила. — Он студент.

— Шамиль сам к ним пришел и сдался, — продолжал Джабраил. — Так было надо.

— Это дело другое, — рассудил Муса. — А то — «пленил!» Да кто он такой, этот русский генерал?! Шамиля все знают, а генерала никто не помнит.

— Камень один помнит, на котором написано, — сказал Мурад, — и то недолго: не больше двух недель. Они ставят — мы спихиваем. Снова ставят — мы опять спихиваем.

— В Москву об этом ничего не передают, — заметил Джабраил. — Боятся.

— Хорошо, что боятся! — сказал Муса и рукой, как кинжалом, воздух перед собою рубанул.

— Чего боятся-то? — спросил Казбек. — Посадят их, что ли, за это? Или с работы снимут?

— Посадить, конечно, могут, — сказал знающий Джабраил. — Но дело тут не в этом. А в том, что вся их «дружба народов», раз памятник скидывают, хромает на одну ногу.

— На все ноги хромает, — поправил Казбек. — «Русский с кавказцем — братья навек». Где это они ее видели, эту дружбу? И на какой такой век?

— Шамиль четыре аула поднял, — дал историческую справку Джабраил, — и объявил газават. А у нас шесть аулов.

— И еще Габдано, — добавил Мурад.

— А что Габдано? — насторожился Муса.

— Как «что»? — удивился Мурад. — Там ваххабиты сидят, они с нами пойдут.

— Не надо! — снова рубанув рукой чуть не со свистом, решил Муса. — Мы против Москвы пойдём, а они пойдут за Ваххаба. — Он оборотился к Джабраилу. — Что скажешь, студент?

— Правда, — не задержался с ответом Джабраил. — Для них хоть русский, хоть китаец — одно и то же. Кто не за Ваххаба, тот никуда не годится.

— Нам богомольцы ни к чему, — продолжал Муса. — Они всегда в свою сторону тащат. Для нас Бог — свобода, а там поглядим. — И черту подвел: — Самим надо начинать!

— Мы в аулах тоже так думаем, — сказал Мурад. — Но с чего начинать-то?

— С оружия, — с большой убежденностью сказал Казбек. — Оружие есть у вас? Или нет?

— Есть кое-что, — доложил Мурад. — «Тулки» есть охотничьи, две малопульки. Кинжалы, конечно, у всех.

— Мало, — сказал Казбек, и взгляд его скользнул под топчан, легко прогулялся по снайперской винтовке, укрытой шкурами.

— План нужен, — сказал студент Джабраил. — Обязательно.

— Мало! — повторил Казбек. — Оружие в отделении милиции лежит, в Гунибе, надо его украсть или отбить. Без этого дело дальше не пойдет. А, Муса?

Абрек не ответил, только плечами пожал: ясно и неразумному младенцу, что без оружия дело не сдвинется ни на шаг, о чем тут говорить.

— Надо офицера привлечь, — сказал Джабраил. — Майора или полковника. Должен же кто-то разбираться в современной войне!

Муса снова промолчал, только поглядел на Джабраила грозно, словно бы выстрелил в него в упор из двухствольного гранатомета; получалось так, что разбираться необязательно и горская отвага перешибет русскую военную науку.

В кибитку с прохладного неба прилетел назойливый звук ревающего реактивного двигателя. Самолет шел под облаками, невысоко. Едва ли пилот, лейтенант или капитан, разглядывал из своей кабины гору под собой, зеленую бурку леса на той горе и Дальний шалаш, надежно укрытый той буркой. Но четверо мужчин в шалаше настроенно застыли, ощущая враждебное присутствие свидетеля их встречи.

— Раньше орлы летали над горами, — сказал Муса, когда звук рассеялся и вернулся покой, — а теперь русские.

— Мы мясо привезли, — сообщил Мурад, — и чеснок. Будете?

— Неси. — И Муса потянул из кармана узкий складной ножичек с бритвенно отточенным клинком — резать мясо.

9

— Хорошо бы куда-нибудь позвонить, — сказал Влад Гордин, угрюмо глядя. — Но звонить некому, и телефона нет...

— Мне тоже иногда хочется, — откликнулся Семен Быковский, — просто до смерти. — И, поведя перед собою рукой, обобщил: — Всем нам хочется.

Они шли на обед в столовый корпус — приземистый дощатый барак, стоявший в зарослях, в глубине дичающего парка. Парило. Лучи солнца, бело-золотые, не пробивали свод листвы над дорожками парка, и зелень казалась темной, почти черной. Чем ближе к столовой, тем больше становилось на подходах мужчин и женщин, шагавших сосредоточенно — как будто не на древний праздник насыщения, а на обязательную ежедневную процедуру они направлялись: на поддувание или болезненный укол.

Раньше, в другой жизни, люди ели и пили для удовольствия и отдыхали, когда усталость валила с ног; в той жизни одиночество не досаждало душе Влада Гор-

дина, да и нечасто он оставался тогда один. На телефонную болтовню он времени не жег и раздражался, когда его приятели молотили языками, уткнувшись в телефонную мембрану, как лошадь в свою торбу с овсом. Здесь, в «Самшитовой рощи», кругом было полно людей — и Валя, и тот же Семен, — а вот тянуло до сжатия сердца позвонить кому-нибудь, неведомо кому, спросить обычное: «Ну, как вы там? Живы?» И это «живы», хоть и звучало в точности как раньше, имело теперь другое значение и другой смысл.

Но звонить было решительно невозможно, а так ведь хотелось, и от этого неисполнения простенького, казалось бы, желания возникало ощущение тревоги и скрытой опасности. Как это — невозможно? Какой чертовой силе это мешает, кому стоит поперек горла? Кто так устроил, что все вчерашние сердечные приятели оказались вдруг в другом измерении, на другом свете? Не Бог же, в конце концов... На другом свете, откуда обитатели «Самшитовой рощи» видятся их далеким знакомцам словно в телескоп, да в придачу еще и в кривом зеркале.

Такие разрушительные рассуждения никогда прежде, ни при каких обстоятельствах не касались крепко сбитой молодой души Влада Гордина. Он испытывал беспокойство. Чужая опасность, он обнюхивал новое ощущение, как собака обнюхивает подброшенный живодером кусок мяса, набитый толченым стеклом.

Семен, чуткий человек, шагал молча рядом с Владом Гординым: пусть подергает его, пусть покрутит, это пройдет. У всех проходило, пройдет и у него. Одни в таком настроении плачут втихомолку, другие запивают, а третьи вот так зубами страшно скрипят. Это проходит, хотя желание позвонить за забор наваливается иногда как падающая болезнь.

Помнил Семен: через три-четыре недели, свыкнувшись с грехом пополам с санаторной жизнью, не так уж и тянется вчерашний новичок к междугородному телефону. Не то в первые дни, когда хоть бы голос родных услышать в трубке с того света, хоть бы кого, хоть обрыдлых соседей по коммуналке! А потом притупляется

желание, уходит в землю и лишь изредка вспыхивает мощно, высвечивает все до последнего закоулка души, нигде не оставляя целебной тени. И, ослепив и уйдя, оставляет после себя такой сплошной мрак, что и ближнего не различишь в шаге от себя.

Да и к какому телефону бросаться, если нет тут никаких телефонов, по которым дадут позвонить! Кто ж даст, когда по междугородному надо дозваниваться часа три, а аппарат всего один — в конторе, в рабочее время. В Москву — три часа, а Тобольск не Москва, туда и за неделю не пробиться. Это не говоря уже о том, что у Майки в ее халупе вообще телефона нет. Воды — и то нет, какой уж там телефон. Так что дозвониться до сестры Семену просто невозможно, как будто не в Тобольске она живет, а в другом измерении. Да ведь так оно, впрочем, и есть.

И, укоренившись, эта мысль примиряла Семена Быковского с его подневольным положением: да, верно, в другом измерении, так уж вышло. И ничего нельзя переделать и изменить.

Здание столовой крестообразно запирало асфальтированную дорожку; пищеблок поглощал входящих. Кормежка только что началась, но зал был уже почти полон. Пахло вареной капустой. Люди сидели за столиками по шестеро, официантки, деловито балансируя в тесноте с подносами в руках, разносили постные щи с перловкой, полезные для здоровья. На столах, застланных серой клеенкой, крепкой, как брезент, розовели штампованные пластмассовые корзинки с крупно нарезанными ломтями белого хлеба и горкой серого металла лежала дюжина алюминиевых ложек с вилками в расчете на всю шестерку едоков. Ножей не было: мяса сегодня не предполагалось.

— Приятного аппетита! — сказал Семен Быковский, когда они с Владом нашли свободное местечко, сели к столу и официантка поставила перед ними тарелки со щами. — Вот паштет из зайца, свежие огурчики, капуста провансаль и гурьевская каша с абрикосами! Ешьте овощ с птичьим названием кольраби — почти как колибри!

А это, кто не в курсе дела, нормандские устрицы, и не вздумайте их жевать, как бублик. На первенькое у нас луковый суп, не забудьте насыпать туда тертого сыру. Потом нам подадут свиные ребрышки и седло барашка под брусничным соусом, хотя у барашка нет никакого седла. Тяпнем по рюмке — и вперед! И не думайте о том, что перед вами пустые щи, заправленные машинным маслом.

Влад Гордин, слушая Семена, разинул рот: он не ожидал от приятеля такого гастрономического красноречия над казарменным столом. Кольраби, это ж надо! Это вроде такая кудрявая шишка, зеленая. А застольники реагировали на выступление Семена неодобрительно: какие там еще ребра, какие зайцы! Улыбаясь натужно, они потянулись за ложками. Семенова красивая картина, хочешь не хочешь, бросала тень на юшку с капустным тряпьем, на которую они безропотно нацелились, да и самих едоков выставляла в оскорбительном свете. Действительно, вместо того, чтобы трескать совершенно невообразимое баранье седло, они без шума и скандала готовы безответно хлебать эту овощную бурду, от которой и у богатыря в кишках случится переворот.

Семен меж тем продолжал:

— На смену первенькому и вторенькому придет украшение обеда — десерт. На этот раз нас ждет бланманже с профитролями и толчеными орешками. Вытрите получше, товарищи, ложки о штаны и приготовьтесь к приему пищи!

Над столом повисла совершенная тишина: бланманже вместо компота из сухофруктов сделало свое дело. Шестеро едоков уныло сидели посреди гудящего зала, как потерпевшие кораблекрушение, задумавшиеся над темным ходом судьбы, сидят в своей жалкой лодке в диком океане.

Первым оклемался приземистый мужичок с кургузым туловищем, с круглым дряблым лицом. Голова этого мужичка была обложена короткими и темными, как у императора Наполеона Бонапарта, вялыми волосами. Он

прибыл в «Самшитовую рощу» из города Сызрань, где служил чиновником нижнего звена в районном отделении профсоюзов.

— Ишь ты! — сказал этот мужичок по прозвищу Пузырь. — С орешками! — И он придвинул к себе тарелку со шами. — Баранье седло!

Пузырь числился хроником, он приезжал на лечение каждый год — сам и выписывал себе путевку в своем профсоюзе — и сидел в санатории по три месяца. Свое прозвище он получил не зря: никто из обитателей Рощи, включая технический персонал, не мог припомнить, чтобы Пузырь сжирал за обедом меньше трех порций первого, будь то щи, гороховый суп или хоть простая затируха. Второго полагалось на каждого едока только по одной порции, а первое можно было трескать от пуза. Вот Пузырь и трескал, и никто его не мог опередить в этом деле. Отсидев свой срок, Пузырь собирал чемодан и отправлялся восвояси, в Сызрань, до следующего года. Со временем он превратился в такую же достопримечательность санатория, как бетонная скульптура спортивной пионерки перед конторой, в клумбе.

Высказавшись, Пузырь замолчал и вдумчиво принял за еду. Заработали алюминиевыми ложками, выживая тесемки капусты, и Семен с Владом Гординым. Проще было бы выпить содержимое тарелки через бортик, но такой способ, как видно, никому не приходил тут в голову. Возя ложкой, Влад вспомнил луковый суп с сыром и улыбнулся: о французском народном вареве он что-то читал, но представить себе, что это такое, не мог. Капусту туда, наверно, не кладут, но должно же там быть что-нибудь, кроме лука. Может, мясо? Мясом супа не испортишь... Так, с недоуменной улыбкой, Влад Гордин повернулся к соседнему столу, где едоки вовсю уже работали над вторым. На тарелках серело причудливо выложенное горкой то ли картофельное пюре, то ли каша-перловка.

— Это что? — спросил Влад у жующей женщины в домашнем халатике, сидевшей к нему вполоборота.

— Рубцы из каши, — сухо ответила женщина и поджала губы: вопрос показался ей надуманным. — Не видите, что ли?

— Рубцы из каши, — не сводя улыбки с лица, в тон жующей повторил Влад Гордин. Багровые рубцы прооперированных, рассекающие тело от соска до лопатки, стегнули его по глазам, всплыли в тусклом пару душевой. — Заяц из тыквы. — Одной рукою он обнял Семена за плечи, почти повис на нем, то ли кашлем давясь, то ли смехом. — Кровавый бифштекс из моркови... А у вас, — снова оборотился он к женщине, — есть рубец?

— Хулиган, — твердо сказала женщина в халатике. — А еще культурный... Чего надо, то и есть!

Влад Гордин хохотал. Лицо его покраснело, глаза налились слезами. Весь столовый корпус представлялся ему душевым баракom, и у всех этих людей здесь, у всех под рубашками и кофточками, и у этой тетки под халатиком, рдели рубцы справа и слева, от соска до лопатки. То был тайный знак туберкулезного братства — здесь, в «Самшитовой рощи», и под Уфой на кумысе, и в московских больницах, и в сибирских деревнях. Влад хохотал и не мог остановиться, как будто пониже ребер взялась разматываться у него какая-то пружина и справиться с ней, остановить ее ход было никак не возможно. Семен Быковский поглядывал на него с грустью. Наконец он легонько шлепнул Влада ладонью по спине и сказал:

— Ну хватит, хватит. Успокойся...

А профсоюзный Пузырь встал на сторону Влада Гордина:

— Смеется человек — ну и пусть смеется. Не кусается же! Может, смешно ему.

— Ему не смешно, — почти шепотом ответил на это Семен. — Ему страшно.

Влад расслышал.

— Братство, — пробормотал Влад Гордин, с нажимом вытирая глаза сведенными в шепотку пальцами. — Как монахи, как рыцарский орден Коха. Туберкулезные рыцари Самшитовой рощи.

— Госпитальеры, — кивнул Семен Быковский. — А что...
— Вроде того, — сказал Влад. — Но рубцы я все равно не буду есть, ты уж извини. Не могу пока.

— Правильно, — одобрил Пузырь. — Лучше мне отдай, я съем.

«Стекляшка» оказалась закрыта. К двери заведения был припилен картонный прямоугольник с разъяснительной надписью: «Переучет». В помещении царил неприятный мрак.

— Посадили их, что ли? — предположила Эмма, кутаясь в вязаную кофту, накинутую на острые плечи. — Никогда не закрывали, а тут закрыто.

— Ну, это проще всего... — возразил Семен Быковский. — Хотя посадить, конечно, могли.

— Если переучет, то внутри должен же кто-нибудь быть, — настаивала на своем Эмма. — Не в лесу же они переучитывают.

— Нет, не в лесу, — не стал спорить Семен. — Во всяком случае, пока обошлось без конфискации — вон, столики стоят.

По берегу ручья действительно чернели надежно врытые в землю дощатые столы и скамьи. Слушать дикие песни ручья, сидя за голыми столами, — это не привлекало никого, темный берег был пустынен.

— Учредительный съезд проведем под открытым небом, — решил Семен. — Звезды пока на свободе, вон они висят. Пошли вниз!

Они спустились к ручью и расселись по обе стороны стола. Урчала бегущая вода, увлеченно трещали цикады. Небо мерцало, свет луны изменчиво скользил по бегущим бесшумно облакам.

— Есть кворум, — сказал Влад.

— Кворум есть, а чебуреков нет, — дополнила Валя Чижова.

— Два рыцаря, две дамы, — сказал Семен. — Так вот...

— Нет-нет! — перебила Эмма. — Зачем разделять? Я за равноправие.

Семен замолчал, взглянул на свою рыжеволосую соседку чуть скептически и, вытянув из кармана бутылку коньяку, поставил ее на стол.

— Что лучше, — вернулась в разговор Валя Чижова, — равноправие или чебуреки? А?

— Конечно, чебуреки, — ответил Влад Гордин и почувствовал, как Валя благодарно прижалась коленкой к его ноге. — Солидарность нам нужна, вот что! А равноправие — это фиговый листок, мы лепим его на лицо, хотя для него отведено совсем другое место.

— Мы рыцари, и у нас должны быть дамы, — дал разъяснение Семен Быковский. — Дамы и кавалеры. А сказать «дамы и господа» — так всех господ вырезали в семнадцатом году, остались одни товарищи и между ними прослойка интеллигенции. Сказать «господа» — неприятностей не оберешься: в лучшем случае лишат тринадцатой зарплаты, а то и с работы выгонят. Это надо?

— Я не рабочий и не крестьянин, — продолжал Влад, — значит, я прослойка. И ты, Семен, тоже, это ясно. И Валя с Эммой не шпалы таскают на стройке. Может, мы — судари-сударушки? Или я, еврей, в судари не го-жусь?

— Никто в судари не годится, — сказал Семен. — За «сударя» сразу в монархизме обвинят или посадят в дурдом. Лучше уж здесь сидеть, чем в дурдоме... Мы — рыцари Дошатаго стола! Чем плохо? И не тронут.

— Что-нибудь из древней истории, — кивнул Влад. — Например, тамплиеры.

— Тогда уж не «там», — поправила Эмма, — а «тут», в Роще. Тутплиеры.

— Есть! — вскинулась Валя Чижова. — Мы тут, мы тоже прослойка, только особая — туберкулезная прослойка! Тубплиеры!

— В «десятку», — похвалил Влад Гордин. — Открывай коньяк, выпьем за наше рождение!

— А хрустальные рюмки? — спросил Семен.

— Настоящие рыцари могут выпить и из горла, — сказал Влад Гордин. — За председателя оргкомитета Семена Быковского!

— Временного, временного... — внес поправку Семен.

Выпили по глотку за временного. Рыжая Эмма свети-лась изнутри нежным чахоточным накалом, а Вале Чижо-вой было все равно, кто станет главным тубплиером, — лишь бы Влад не убирал под столом ногу от ее колена.

— Нас вон сколько по всей стране, — сказала Эмма, передавая бутылку Владу Гордину. — Прослойка — это здорово! И стрептомицин дадут.

— Ну да, — отозвался Влад Гордин. — Дадут. А потом догонят и еще добавят.

— Прослойка, — рассуждал Семен, — вот это точно. Но между чем и чем? В самом низу — между цыганами и зеками? Или повыше — между фэззушниками и гоми-ками? Надо ведь знать свое место в обществе, опреде-литься...

— А пусть Влад устав напишет, — предложила Валя, — он может. И там все будет точно указано.

— Лучше бы ничего не писать, — остерегся Семен Быковский, человек с жизненным опытом. — Лучше бы все устно...

— Я напишу, — сказал Влад Гордин и, как бы при-печатывая свое решение, шлепнул ладонью по столу. — Кто мы, что мы... Лет через сто, может, напечатают. Ког-да все слои перемешаются.

«Слоисто небо, как рулет:

Желтый цвет, красный цвет», — писал Влад.

Кубинец Хуан, сосед по палате, глядел на него с на-стороженным любопытством, как птица с ветки.

«Рыцари ордена тубплиеров, — писал Влад, — про-питывают общество, но не смешиваются с ним. Тайна их не во владении Святым Граалем или копьем Лонгина. Их тайна в великолепном единстве, разрушить которое может только смерть. Незримая цепь Коха связывает их друг с другом — мужчин, женщин и детей, — и, лишь собираясь вместе, в своем кругу, они ощущают благо свободы. Покидая этот круг, рыцари возвращаются во враждебный и лицемерный мир, живущий по шулерским законам.

Неверно, что советское общество сложено из трех составляющих: рабочих, крестьян и зажатой меж ними прослойки интеллигенции. Весь мир нашего окружения сшит из слоев, сбитых кастовыми или социальными интересами: партийные и беспартийные, колхозники и чиновники, военные и штатские, учителя, врачи, люмпенизированные заводские работяги, заключенные и вольнонаемные. Мы, рыцари ТБЦ, присутствуем во всех слоях, и наше тайное единство обусловлено клеймом нашей болезни».

— У тебя на Кубе, — обернулся Влад к Хуану, — знает кто-нибудь, чем ты заболел?

— Нет, конечно, — ответил кубинец. — Кроме врача и матери.

— А если б ты, — продолжал Влад Гордин, — подхватил, скажем, сифилис, знали бы?

— Узнали бы, — подумав, сказал Хуан. — Сифилис — да.

— А почему? — с большим интересом спросил Влад.

— Туберкулез, — сказал Хуан, — это очень страшно для людей. И это — секрет.

— А сифилис — не страшно? — продолжал наседать Влад.

— Сифилис — позор, — объяснил кубинец Хуан. — Позор не может быть секретом. Позор — для всех, а секрет — только для себя.

«Мы объединяемся в орден тубплиеров, — писал Влад, — чтобы скрасить свою жизнь, омраченную в большей степени, чем у других людей. Мы ни в чем не провинились перед многослойным обществом, и мы не хотим жить в тени. Объединившись, мы обретаем могущество и употребим его на то, чтобы государство снабжало нас всеми необходимыми средствами для облегчения нашей участи. Бойтесь нас, непосвященные! Узы беды связывают тесней, чем шелковые нити счастья. Мы объединяемся, чтобы стать счастливыми на свой лад».

— Хуан, а Хуан! — Влад отложил ручку. — Тебе кто ближе: больные или здоровые?

— Ближе? — переспросил кубинец. — Я не совсем понимаю...

— Ну хорошо. С кем тебе проще: с такими, как ты, или со здоровыми, даже если они члены профсоюза?

— Проще? — снова переспросил Хуан.

— Ну да, — кивнул Влад. — Ты партийный? Член партии?

— Конечно, — сказал Хуан. — Иначе меня бы сюда не послали.

— Вот видишь, — сказал Влад. — Так тебе с кем проще говорить, общаться — с твоим партийцем, здоровым, как крокодил, или, допустим, со мной — беспартийным, но зато большим?

— С тобой, — не задержался с ответом кубинец.

— А почему? — допытывался Влад.

— Ну, как... — пожал плечами Хуан и улыбнулся. — Мы же одинаковые. Тубики.

— Почти одинаковые, — возразил Влад Гордин и пальцем погрозил притворно. — Потому что я пью коньяк, а ты не пьешь.

«Рыцарем ордена тубплиеров, — писал Влад, — может стать всякий, отмеченный знаком Коха, вне зависимости от расовой принадлежности, национального происхождения и социального уровня. Орденом единовластно руководит Великий магистр. При принятии им решений ни демократический централизм, ни демократический периферизм не имеют никакого значения. Рыцари руководствуются двумя неукоснительными правилами: соблюдением тайны и послушанием».

— Если бы открылось такое тайное общество туберкулезных больных, — спросил Влад Хуана, — ты бы вступил?

— У нас за тайное общество пятнадцать лет дают, — сообщил Хуан без всякой, впрочем, тревоги. — У вас разве нет?

— А у нас, камрад, социализм уже построен, — сказал Влад Гордин. — Десятку влепят, и довольно.

И приписал внизу листа:

«Туберкулезники всех стран, соединяйтесь!»

В комсомоле Влад Гордин не состоял никогда — так случилось. Школьный класс, где учился Влад, принимали в помощники партии всем скопом, никого, разумеется, не спрашивая: согласен или не согласен? На дворе стояли пятидесятые, самое их начало, Сталин сидел в Кремле, и несогласных, если бы они вдруг обнаружили, ждали крупные неприятности. Класс собрали, взрослые дяди объявили малолеткам, что они теперь комсомольцы, и сердечно, но с долей отеческой строгости их поздравили. Дело было сделано, галочка на соответствующем документе поставлена. А Влад в эти дни как раз переводился в другую школу: семья, обменяв квартиру, переезжала в другой дом, в другой район. Комсомольские бумаги свежего пополнения — членские билеты, учетные карточки — были уже оформлены и лежали в райкоме, может быть, даже в сейфе под замком. Запланировано было и торжественное вручение — с боевыми песнями и речами... Влад Гордин волей-неволей выпал из этой тележки. Вызванный в райком, он получил от дежурной девушки из рук в руки запечатанный бежевый пакет суровой прочной бумаги и строгий наказ: ехать не мешкая в райком по новому месту жительства и передать документы в отдел учета для дальнейшего движения. Устный наказ содержал в себе и предупреждение: утеря пакета повлечет за собой ужасные последствия, без учетной карточки Гордин напрочь оторвется от общественного ствола, окажется отщепенцем в безвоздушном пространстве и задохнется от отсутствия живительного воздуха... Правила предусматривали пересылку таких важных документов по спецпочте или с уполномоченным нарочным, но и комсомольцы — беспокойные сердца — допускают иногда проколы по запарке. Может, шустрый нарочный перебрал накануне и маялся головной болью, может, почтовое отделение закрылось на переучет — кто знает. Во всяком случае, дежурная девушка в окошечке была тут вовсе ни при чем. А то, что она не взяла у Влада Гордина расписку в получении, — так у неё и бланочка такого не оказалось под рукой.

Прижимая пакет к груди, Влад отправился домой, на старую квартиру, заваленную коробками и тюками, приготовленными к перевозу. Голова его работала ладно, как счеты, разве что костяшки не пошелкивали. Получалось, что, пропади этот самый пакет, следы Влада Гордина затеряются в чистом поле, в стороне от комсомольского райкома, и никто об этом даже не догадается: нет конца, нет и начала. Взбежав на свой третий этаж и отперев дверь, Влад прихватил спички на кухне и заперся в закутке уборной. Там он, не проявляя излишнего любопытства, старательно поджег нераспечатанный пакет вместе с его содержимым. Горело плохо, пламя нехотя схватывало плотную бумагу и коленкоровую обложку членского билета. Влад чиркал спичками. Наконец от пакета остался лишь пепел да обгорелые ошметки. Влад сбросил прах в унитаз и спустил воду, потом подождал, когда бачок наполнится, и снова потянул за обколотую фарфоровую ручку на металлической цепочке. Вот теперь дело было сделано. Да здравствует цивилизация, подарившая столичным жителям механический ватерклозет!

К слову, и во «внучатах Ильича» не побывал Влад Гордин, и форменного пионерского галстука у него не было в школе. А когда класс выводили по красным числам календаря на линейку — да, стоял там и он, но стоял как бы самозванцем, — никому и в голову не могло прийти, что Гордин — почти чуждый элемент, затесавшийся в ряды. И в подмосковные пионерлагеря он не ездил — пронесло, и солнечный «Артек» ему не светил ни при какой погоде: дядья и по отцовской, и по маминной линии сидели по пятьдесят восьмой статье, семья никак не могла считаться образцовой. Нельзя сказать, что, взрослея, Влад Гордин становился преданным врагом советской власти со всеми ее коммунистическими заклинаниями и смехотворным намерением перегнуть Америку по надою молока, но эта власть его брезгливо раздражала, он привычно видел в ней досадную помеху всему приятному и доброму, что случалось под солнцем. Нет, не из таких рядовых ребят выходили на площадь беззаветные диссиденты-

шестидесятники, но именно они, рядовые, четверть века спустя хлынули на улицы, отстаивая наконец-то проклянувшуюся русскую свободу.

А престарелого абрека Мусу русская свобода ничуть не волновала и не трогала: свобода горной тропы вела его по кругу. Окажись он чудесным образом в Москве, во главе отряда отважных головорезов, он не кинулся бы первым делом грабить Кремль и насиловать балерин Большого театра. Державная Москва с ее красным царем для него как бы вовсе не существовала, она не возбуждала в нем никаких чувств, словно бы находилась на Луне или же на Марсе. Его желание было иным: избавиться от незваных чужаков в родном горном краю, будь они русскими, евреями или татарами. Не поздоровилось бы в этом случае и недужным обитателям санатория «Самшитовая роща» — и не потому, что содержали они в себе ужасную заразу, а по той причине, что Муса их сюда не приглашал и мог с легкостью без них обойтись.

У всякого прямоходящего существа свое представление о свободе, и, хотя воображаемая картина размыта и расплывчата для всех без исключения, индивидуальные особенности играют тут не последнюю скрипку. Свобода рук, свобода ног, свобода мысли! Для рыжей Эммы зеленый Кавказ был куда свободней и милей ее родного Ленинграда, того сумрачного Питера, откуда Великий Петр собирался грозить шведу и показывать ему кузькину мать. А не будь здесь в помине всех этих абреков-чебуреков, всех этих клекочущих на непонятном орлином языке горбоносых аборигенов, которых она побаивалась в глубине души, Кавказ казался бы ей еще милей, еще свободней. Кавказ — курортный пригород России, подлокотник державного кресла! Плохо, конечно, что Сталин переселил всех этих туземцев куда-то в Сибирь, но как было бы хорошо, если б они там и остались навсегда. Для них, может, и хуже, зато для нас лучше. Своя рубашка ближе к телу, и это можно сказать и о свободе.

Валя Чицова своими расчудесными синими шариками смотрела на вопрос несколько иначе. Валя, конечно,

была за свободу, это ясно. Но, не зная толком, что это такое, она чистосердечно принимала несвободу окружающего ее советского мира за хрустальную свободу.

Что же до Семена Быковского, бывалого человека, то свобода была для него понятием сугубо книжным, из научно-фантастических романов, которые Семен любил почитать. Искать свободу вокруг себя, в пределах видимости, было гиблым делом, пустой тратой времени. В Нью-Йорке, говорят, есть свобода или в Париже, но и в это верилось с трудом. Откуда она там возьмется, свобода, если и парижане, и американцы — такие же люди, как и мы, с температурой 36,6 и косым пробормом на голове? Люди придумали свободу, потому что ее никто в глаза не видал, никогда ее не было и нет. А есть только акварельное описание свободы и приказ за нее погибнуть в кровавом бою: «Славься, Отечество наше свободное!» Обезьяна на ветке — та была свободной, а как только спустилась на землю и превратилась в человека, сразу стала подневольной. Значит, надо либо обратно лезть на дерево, либо делать вид, что все у нас со свободой в полном порядке. И если кто начнет сомневаться и разинет варежку, тому впаяют лет десять, чтоб пересмотрел на нарах свои взгляды и исправился в трудовом коллективе, на лесоповале. Семен не хотел ни на дерево, ни на лесоповал и помалкивал. Проще всего было сплавляться по жизни, как плоту по реке. Так он и плыл.

10

Лило.

Гром всхрапывал и ворочался с боку на бок. Потом кто-то, словно бы вцепившись в небо по краям, с треском разрывал его надвое и космический грохот вываливался из черной прорехи на землю. Магниевые вспышки молний выхватывали горный лес, вольный дикий свет настигал зверье в норах и людей в постелях под крышами их жилищ.

Влад любил грозу. Ему нравилось не бояться смутного восторга от прикосновенья к этой грохочущей вечности. Не смертельная сила молний его завораживала, а их красота. Ощущая свою крохотную малость рядом с хаосом, самодостаточным и непреклонным, он радовался тому, что жив.

— Влад, ты где? — услышал он Семена из сырой глыбины блиндажа. — Иди к нам!

Покосившийся и почти ушедший в землю блиндаж, сохранившийся на склоне горы со времен войны, напоминал заброшенную мансарду на зеленом скате крыши. Только силою воображения можно было представить здесь, в ветхой землянке, готовых к смерти людей — в солдатских гимнастерках, в раздолбанных сапогах, с винтовками. Может, наспех сколоченный из досок и жердей стол стоял посреди комнаты, может, камелек дымил — обязательное свидетельство недолгого человеческого присутствия. Ничего не осталось: ни стола, ни огня, и те люди ушли или были убиты.

— Ну, ты где? — повторил Семен.

Влад выглянул за порог, в пустой дверной проем, за которым завесой стоял ливень, а потом повернулся и шагнул на зов. В помещении было сыро, но сухо; только в дальнем углу шлепали на разные лады капли воды по земляному полу.

— Так теперь и будем тут стоять? — кутаясь в вязаную кофту, спросила рыжая Эмма немного раздраженно. — Семен, а Семен!

— Дождь, — сказал Семен и улыбнулся Эмме. — Дождь! В каждом дожде, считай, есть капля Иордана. И мы, значит, сейчас проходим обряд очищенья. Или крещенья — как кому больше нравится. — Он взглянул на Влада Гордина и ухмыльнулся чуть заметно. В сумраке землянки этого никто и не заметил.

Влад независимо пожал плечами. Креститься он и не думал, очищенье среди бела дня, под дождем, тоже его никак не привлекало. Иордан — это другое дело. Иордан вытекал как будто прямо из его сердца, на его травяном

берегу он видел не Иоанна Крестителя, а ватагу горбоносых евреев в разноцветном рядне, с короткими мечами в сильных волосатых руках, открытых до локтя.

А Валя Чижова готова была хоть мокнуть под дождем, хоть плавать в еврейской реке на краю земли. Валя Чижова была влюблена, душа ее сочилась светом и медом. Подобравшись поближе к Владу, она улыбалась во все свое милое лицо — хотя грома боялась страшно.

— Дождь, — прислушиваясь к ровному гулу ливня, повторил Семен Быковский. — Гроза. Хороший фон для посвящения в рыцари печального образа.

— Это мы — рыцари? — нетерпеливо спросила Эмма.

— Да, мы, — ответил Семен. — Кто ж еще?

— Все мы? — уточнил Миша Лобов. Похоже, он сомневался в том, относится ли сказанное Семеном Быковским и к нему тоже.

— Не совсем, — пояснил Семен Быковский. — Мы тут впятером, и еще миллион или два кашляют по всей стране. Но мы — первые!

— Здорово! — сказала Валя Чижова. — Я — «за»! — И поглядела на Влада: а как он? согласен?

— Но только без членских взносов! — категорически предупредил Миша Лобов. — Я платить не буду.

— Никто и не говорит, — успокоила Эмма. — Мы же, в конце концов, не торговый профсоюз, а рыцарский. А, Семен?

— Все только начинается, — сказал Семен, то ли соглашаясь с рыжей Эммой, то ли возражая ей. — У нас пока ни коней нет, ни доспехов.

— И стрептомицина нет, — вставила Валя Чижова.

— Рыцари тоже были бедные, — сообщил Влад Гордин. — Сначала, во всяком случае. Тамплиеры даже ездили по двое на одной лошади, я точно знаю. Но потом разбогатели.

— Тамплиеры плохо кончили, — сказал Семен и головой покачал. — Их сожгли, одна копоть осталась.

— Ну, нас, может, не сожгут, — произнес Миша Лобов с сомнением в голосе. — Мы все же не тамплиеры, а тубплиеры.

— Если ты спичку не поднесешь, тогда не сожгут, — дерзко сказала Эмма и отвела глаза. Рыжая Эмма терпеть не могла Мишу Лобова.

— Тублиеры, — нараспев проговорила Валя Чижова. — Красиво... — Она оборотилась к Владу: — Это ты придумал!

— Не я, а ты, — поправил Влад и пальцем шутливо погрозил.

— Ну, тогда вместе! — попросила Валя.

— А что мы будем делать? — разведочно спросил Лобов. — Если мы, допустим, рыцари.

— Веселиться! — сказала Валя Чижова. — Что же еще? Плакать, что ли?

Идея понравилась: лить слезы никому не хотелось. Лобов тоже как будто был удовлетворен.

Тем временем ливень утих. Проем двери очистился и посветлел. Обтянутое тучами небо стало выше, легче, а рычанье грома доносилось теперь до земли, как сквозь вату.

— У нас должен быть начальник, — сказала рыжая Эмма. — Постоянный. Иначе ничего не выйдет.

— Магистр, — уточнил Влад Гордин. — Магистр ордена тублиеров. Верно.

— Вот он пусть и остается, — предложила Эмма. — Семен. Кто «за»?

— Мы тут не воеводу новгородского выбираем, — скривил лицо Влад. — Конечно, Семен! Кто ж еще?

— Если так, спасибо за доверие, — сказал Семен Быковский. — Самоотвода не будет... Кого еще примем в орден?

Тублиеры замолчали, обдумывая — кого же.

— Может, негра? — спросила Валя Чижова. — То есть кубинца?

— Да ну его, — неодобрительно покачал головой Влад. — Он партийный. И во-вторых, не пьет.

— Это говорит не в его пользу, — решил Семен. — Если человек не пьет, это всегда подозрительно. Особенно в нашем рыцарском положении.

— Я газету могу делать, — сказал Влад Гордин. — Для своих, конечно.

— Стенгазета! — обрадовалась Валя Чижова. — У нас будет стенгазета!

— «Туберкулезная правда», — сказал Влад. — Ежедневная. Без цензуры.

— «Туберкулезники всех стран, соединяйтесь!» — предложил Семен Быковский. — Эпиграф. Это ты, Влад, здорово придумал.

— А вот про негра вы зря: он на самом деле алкаш, — дал полезную информацию Миша Лобов. — Только скрывает.

— А ты откуда знаешь? — насторожилась рыжая Эмма.

— Знаю — и все, — отрезал Лобов. — Оттуда... Он ром пьет, а потом под забором валяется. У него там вроде берлоги.

Тублиеры замолчали, живо представляя себе необыкновенную картину: Хуан, валяющийся в берлоге.

— Да он мне сам говорил, — усомнился Влад, — что ни рюмки не пьет: потом от паска человек краснеет как рак. Врачица заметит и телегу накатает.

— А как он покраснеет, — логично заметил Миша Лобов, — если он весь черный?

Дождь перестал. Мокрый лес отряхивался под ветром как большая зеленая собака.

— Побежали, пока опять не полило! — позвала Эмма.

Побежали, перепрыгивая через лужи. Эмма устала от бега, задыхалась.

— Давай сюда! — сказал Семен и, поддерживая Эмму под хрупкий локоть, повернул к беседке-грибку, уже в виду столового корпуса. Войдя под круглую крышу, сели на бревенчатую сырую скамью, опоясывавшую круглый ветхий домик. Влад с Валею и Миша Лобов почти добрались до столовой.

— Зря мы Лобова позвали, — отдышавшись, сказала Эмма. — Вот увидишь, он список составит и передаст.

— Ну и что? — пожал плечами Семен. — Не он, так другой. Страна должна знать своих стукачей. А что он еще передаст? Что мы хотим революцию устроить?

— Да, революцию, — упрямо повторила рыжая Эмма. — Они там проверять не будут. Он скажет, Лобов этот: «Быковский устроил секретное собрание в лесу». Вот увидишь.

Семен знал: скажет, скорее всего. Донесет. Последствия доноса не вызывали у него опасений. Ну да, большие чахоткой тубплиеры, или рыцари короля Артура за своим столом, или хоть Рюриковичи в терему собираются вместе, пьют водку и шутки шутят для поднятия тонуса. Кому от этого плохо? Никому. Групповщину пришьют? Так сейчас вроде времена уже не те, когда за это дело десятку давали без сдачи. Сейчас все понятно, и это даже хорошо: Рюриковичи — на здоровье, а Романовы — нельзя. Романовы — это монархизм, антисоветский заговор. Нельзя — и точка. Дураков-то нет. А Лобова надо назначить виночерпием, чтоб бутылки открывал. Прикормленный стукач — основа порядка и спокойствия. У нас в отечестве каждый третий стучит, включая клинических психов. Так лучше уж один опознанный Миша Лобов в ордене, чем три или четыре неизвестных. Мы за него и доносы будем писать, Влад красиво напишет.

Дождик накрапывал, вода уходила в потемневшие песчаные дорожки. Из подошедшего автобуса выбрался одинокий путник в синем плаще-болонье, с тяжелым чемоданом в руке и брел теперь к корпусу.

— Заходите! — окликнул его из беседки Семен Быковский. — Согреться не согреться, зато не промокнете до нитки.

Путник охотно свернул к беседке, вошел и тяжело опустил свою ношу на пол.

— Очутиться в нужное время в нужном месте, — беспечно сказал путник. — Иначе — тоска! — И представился, чуть щуря глаза под мокрыми стеклами очков: — Сергей Дмитриевич. А можно Сергей, так проще. Игнатьев.

Познакомились легко, без запятых.

— А вы наш человек, — с приятнью предположил Семен Быковский. — Со стажем... Здесь бывали, в Роше?

— Здесь не бывал, — откликнулся Сергей. — Уфа, Крым. Нижняя Волга. Здесь — впервые. А вы?

— Старожил, — ответил Семен. — Я здесь как дома.

— Даже без «как», — сказала рыжая Эмма. Ей не терпелось принять участие в разговоре с новеньким.

Сергей Игнатъев выглядел лет на сорок с довеском; пожалуй, он был ближе к пятидесяти, чем к сорока. Но могло ему оказаться на поверку и тридцать пять по паспорту. Под высоким и крутым, обрывистым лбом глубокие глаза светились сухим теплом — то ли по причине дружелюбного характера, то ли от тлеющей болезни. Небольшие кисти рук, которые он, опустив чемодан, освобожденно потирал одну о другую, отличались совершенством и красотой лепки.

— Что у нас хорошо, — заметил Семен, — так это текучесть кадров. Один ушел, другой пришел. Новые люди, новые знакомства. Не скучно.

— Никакого застоя, — то ли в шутку, то ли всерьез согласился Сергей. — Не как там... — Он повел головой к забору, к воле. — Там что, а? Сослуживцев кружок с утра до вечера, потом чтение газеты в трамвае, потом запах стирки дома — и так изо дня в день до самого Нового года, до праздников. Что, не так?

— А у нас здесь хуже, чем на празднике, — подхватил Семен Быковский, — зато лучше, чем в тюрьме. О чем еще может мечтать человек?

— Ну, о чем... — прикинул Сергей Игнатъев. — Например, о всемирной справедливости. Или о полете на Венеру. Кому что больше нравится.

— Вы ученый? — предположила Эмма. — Астроном?

Сергей Игнатъев оказался историком, специалистом по ганзейской торговле.

— Но у меня есть один знакомый астроном, — сказал Сергей. — Вас интересует эта наука?

— Не очень, — ответила Эмма.

Они спустились из беседки и пошли, огибая лужи, к корпусу.

— Как вы думаете, — обернулся Сергей к Эмме, — Бог есть?

— Ну, в общем-то, нет, — подумав, решила Эмма.

— А этот мой товарищ, астроном, думает, что есть, — сказал Сергей. — «В космосе обитает неодушевленная разумная материя, управляющая процессами Вселенной» — это он написал.

Семен Быковский прислушивался внимательно.

— Отрицание Бога, — сказал Семен, — это заблуждение молодости. Ну что с них взять, с этих молодых! — и взглянул на Эмму.

Рыжая Эмма улыбнулась чуть загадочно: она была благодарна Семену за то, что он не вытесняет ее из разговора с умным новичком.

— Вот никогда бы не подумала, что вы специалист по торговле, — приветливо сказала Эмма. — Но вы, наверно, и другие вещи знаете по истории?

— В общих чертах... — согласился Сергей. — А что вас конкретно занимает?

— Например, тубпиеры, — сказала Эмма.

— Как-как? — не скрыл удивления Сергей Игнатьев.

— То есть тампиеры, — поправилась Эмма. — Ну, рыцари. Крестоносцы.

Игнатьев знал кое-что и о рыцарях-храмовниках.

— Их начальный центр, штаб, иными словами, располагался в храме Соломона в Иерусалиме, — сказал Сергей Игнатьев. — Это интересная история и поучительная. Как и все, собственно, в истории.

— А мы тут... — продолжила было Эмма. — То есть...

— Лучше бы этот штаб располагался в храме Ивана или какого-нибудь Глеба, — перебил ее Семен. — Спокойней было бы на душе. А то Соломон, евреи...

— Это понятно, — легко кивнул Сергей. — Евреи вот уже две тысячи лет подряд вызывают подозрения. Но...

— Мы тут тоже собираемся строить храм, — поделился Семен Быковский. — Вот ведь в чем дело...

— Прекрасно, — несколько настороженно заметил Сергей Игнатьев. — А «тут» — это где же? В Самшитовой роще? — Он поставил чемодан на землю и переменял руку.

— Храм туберкулезников, — сообщила рыжая Эмма. — Правда, здорово?

— Орден тубплиеров, — чуть наклонив голову к плечу, с гостеприимной улыбкой сказал Семен Быковский. — Вход свободный...

— Уже вхожу, — отозвался Сергей Дмитриевич и действительно шагнул вперед по мокрой дорожке.

11

Сергей Дмитриевич Игнатъев был непростой типус. К нему никак нельзя было прицепить инвентарный жетон с выбитой на нем надписью «Простой советский человек», сокращенно ПСЧ. А ведь из таких ПСЧ в шестидесятые годы прошлого века состоял, за редкими исключениями, великий и могучий советский народ, эта «новая общность людей», невиданная ни в какие времена популяция, обитавшая от Владивостока до Бреста и от Кушки до Амдермы.

Специалист по ганзейской торговле Сергей Игнатъев являлся именно таким исключением, так же как и его однокашники — дюжина писателей и ученых из кружка поэтессы Лиры Петуховой, проживавшей с молодым мужем Микой Угличем в коммуналке на одной из старинных арбатских улочек, в комнате с разноцветными стенами — двумя белыми, бордовой и зеленой.

Лира не всю жизнь, не от рожденья была Лирой: когда-то, лет за сорок до описываемых времен, знакомясь с миром в деревеньке Шустрики на берегу речки Серебрянки, она охотно откликалась на другое имя — то ли Грунька, то ли Фроська. Таких Серебрянок в России сотни, а вот Шустрики вроде бы одни на весь край; когда-то водились там, еще до Анны Иоанновны, шустрые люди, а потом помаленьку все перевелись от трудностей хозяйственной жизни и превратились в дремучих угрюмцев на зеленой земле. И не стать бы Фроське Лирой, не подайся ее отец, земляной человек Василий Петухов, в близлежащий городишко Крюков, в большевики — от тяжелой бескормицы и безвыходного положения вещей.

Крюковские большевики встретили социально близкого им Петухова вполне радушно: отправили его на борьбу с чуждым сытым элементом, он там и воевал как мог. По прошествии времени Петухов в ударном порядке одолел курс ликбеза и был укоренен в местной ЧК. Подробные, с поучительными деталями рассказы о ловле раков в реке Серебрянке выслушивались чекистами с пониманием и сочувствием. Петухов, влезши в воду и бродя вдоль бережка, добывал полезных зверьков на завтрак, обед и ужин на всю семью, ловил вот этими самыми руками — совал пятерню под корягу, шебаршил там пятерней и терпеливо ждал, пока рак цапнет его за усердный палец. Скучно ему в воде не было: вся деревня Шустрики промышляла таким ловом с утра и до поздней ночи.

Служебное усердие и литературный талант рассказчика способствовали карьерному росту. Безукоризненного Петухова с семейством проводили из Крюкова в райцентр Глухов, оттуда — в область. Журчали годы. На излете убойных чисток тридцать седьмого Петухов был переведен в Москву для укрепления поредевших рядов. Там, в кабинете со шторами, он и дождался начала Великой войны. Работы у него не ubyло с началом военных действий: он ведал паникерами. Рутинное занятие не приносило, однако, заслуженного покоя: так окончательно и не приспособившись обстоятельной крестьянской душой к мучительству человеков, Петухов помер от запоя незадолго до Победы. Я видел его могилку на Ваганькове: «Следователь В. И. Петухов, чл. партии с 1921 года». Вот и все.

Лири никогда не останавливалась на раннем, рассветном периоде своей жизни, да ее и не расспрашивали. Казалось, аист ее когда-то принес в арбатскую комнату с картинами Вейсберга и Тышлера, с круглым массивным столом под вышитой скатертью, подходящим и для писания стихов, и для приятельских посиделок. Принес в клюве аист крохотную Лиру во фланелевом чепчике и оставил в комнате с разноцветными стенами — двумя белыми, бордовой и зеленой.

С той нежной поры прошло немало времени, и Лиры Петухова превратилась в женщину средних лет. Трудно чистосердечно и без лукавства обнести колышками годов и измерить этот довольно-таки размытый участок; тут и жизненные обстоятельства субъекта — в нашем случае Лиры Петуховой — играют свою роль, и эмоциональные устремления землемера с его колышками. Как бы то ни было, само это зыбкое и вязкое понятие — «женщина средних лет» скрывает в себе, как в добротном плотном мешке, целую уйму событий, составляющих содержание жизни; там и страницы проставлены. Эта нумерация едва ли была открыта Мике Угличу — молодому мужу, сочинявшему на краешке круглого стола свободные стихи не вполне доступного содержания. Этот Мика был, что называется, «видный мужчина» и добродушный; единственное, что в нем настораживало, так это его рыбий судачий взгляд. Глядя ему в глаза, всякий человек как бы погружался с головою в водную пучину, населенную холоднокровными тварями, которые, может быть, и не хуже нас с вами, но совершенно другого рода. Впрочем, к Мике Угличу в кругу Лиры Петуховой все уже привыкли и не обращали на него внимания. Он был частью целого — как тот же круглый стол, пончо с ламой на плечах Лиры или сиамская кошка, гнездившаяся на книжном шкафу и наблюдавшая за происходящим в комнате подобно девочке Малаше, залегшей на печи во время решающего кутузовского совета в Филях.

А в тесный круг Лиры входили, помимо ганзейца Сергея Дмитриевича Игнатьева, поэты и ученые: математики, физики-теоретики, один микробиолог — всего человек десять. Находился среди них, разумеется, и стукач, а то и целых два — в этом не было никакого сомнения, но пальцем друг на друга никто не указывал по причине совершенного неведения: каждый, строго говоря, мог здесь оказаться сексотом, не исключая и Мику Углича. Да и с самой хозяйки, Лиры Петуховой, никак нельзя было безоговорочно сдернуть кисею мрачного подозрения — хотя бы ради справедливости.

В неделю раз, по субботам, ближе к вечеру, у Лиры Петуховой собирались друзья и сидели за круглым столом за разговорами и коньяком до поздней ночи. В других домах вот так, по заведенному порядку, собираются близкие знакомцы, для того чтобы расписать пульку в преферанс, а у Лиры вдумчиво обсуждали обстоятельства нашей жизни, помногу говорили о литературе и немного о политике. В нынешние времена такое приятное сидение назвали бы «петуховская тусовка». Состав Лириных гостей не изменялся от раза к разу, появление новичка — а это изредка случалось — было событием экстраординарным, подобным явлению Колумба на американском берегу. С самого порога и микробиолог, и поэты с физиками-теоретиками, все эти ее постоянные мужчины — а женщины к ней никогда не приходили, — входя в комнату Лиры, чувствовали себя раскованно и немного приподнято, в своем кругу, как иные единомышленники в час традиционной еженедельной встречи в русской бане.

Соседи по коммунальной квартире, набор из пяти семей широкого социального охвата, были неизбежным злом. Совсем не общаться с ними не получалось никак — на кухне приходилось худо-бедно готовить и греть еду плечом к плечу с жильцами, да и то место, куда царь пешком ходит, не могло долго оставаться обойденным. Лучшую комнату коммуналки занимали школьный учитель физкультуры с женой, двумя малыми детьми и старухой тещей, худшую — одинокий партизанский инвалид, глубоко пьющий человек, пропивший все, что умещалось в поле его зрения, включая старинный паркет с пола его берлоги.

— Таким радикальным образом Терентий раз и навсегда решил половой вопрос, — посмеивалась Лира Петухова, и это было правдой: партизан ставил бутылку куда выше прочих удовольствий жизни.

Между партизанским инвалидом и физкультурником умещался еврей Яша пенсионного возраста с парализованной на одну сторону женой, татарин-дворник, пускавший к себе ночевать приезжих сородичей из Казани

и весело проводивший с ними время, и большая семья айсоров, чистившая ботинки в будке на углу и торговавшая авоськами и гуталином собственного производства. Наибольшие неприятности причинял Лире и Мике татарин, ежевечерне топивший со своими гостями на кухне в чугунном казанке какой-то подозрительный жир и провонявший всю квартиру неистребимым то ли бараньим, то ли козлиным смрадом.

Ли́ра с соседями не общалась по мере возможностей. Зато Мика, никуда не деться, хаживал в кухню, где можно было обнаружить во всякое время суток сидевшего на табурете посреди помещения партизанского инвалида в голубой майке. Ближе к вечеру появлялся и татарин со своим казанком и кем-нибудь из казанских постояльцев в придачу. Трижды в неделю с наступлением темноты и до полуночи клевала носом за персональным столиком учительская теща: неутомимый физкультурник высылал ее в кухню, а сам, разложив жену на раскладном диване, сосредоточенно над нею пыхтел и скрежетал крепкими зубами.

Мика Углич в контакты с народом не вступал, а народ тянулся душою к интеллигенции. Все попытки завязать доверительный с ним разговор Мика пресекал, погружая в глаза говорящего оловянное лезвие своего рыбьего взгляда; никто такое испытание не мог выдержать, за исключением партизана Терентия, на которого гляди что акула, что хоть удав — все ему было по плечу. Да и беседовал он, как правило, сам с собой, это его вполне устраивало.

Вечер, о котором пойдет речь, ничем не отличался от других вечеров в арбатском общежитии. Подогрив купленные в Елисейском гастрономе готовые котлеты, Мика выбрался из народной гущи и с подносом в руках проследовал по коридору к своей двери. Гости и хозяйка встретили его появление приветственными одобрительными возгласами, как будто он благополучно прибыл не из коммунальной кухни, а из густого леса, населенного волками и медведями. Дверь затворилась, все сели к столу и придвинули к себе тарелки и рюмки. Физкультурная

теща, партизан в майке и татары с казанком остались в другом далеком измерении. А вокруг стола возник разговор из отборных слов, легкий и праздничный, как деликатес.

— Все так хорошо и славно, — поглаживая салфетку ладошкой, сказала Лира Петухова. — Мы будем пить вино, а бедный Сережа сидит на этой жуткой горе с красивым названием.

— А какое название? — спросил микробиолог. — Надо обязательно ему написать...

— Мика, как это называется? — Лира провела пальцем по плечу мужа.

— «Самшитовая роща», — сообщил Мика. — Санаторий. Эпчинский район.

— Да, район какой-то неприятный. — Лира досадливо покачала головой. — Что это еще за Епчинск! Это город, Мика?

— Не Епчинск, а Эпчик, — поправил Мика Углич. — Районный центр. Я нашел по карте.

— Вот молодец! — похвалила Лира. — Вот хороший мальчик! А где письмо?

— У меня, — ответил Мика. — Прочитать?

— Ну конечно, — сказала Лира Петухова. — Эпчик... — И снова головой повела в сомнениях.

— «Дорогие мои, — начал Мика, — нет русской культуры без эпистолярного жанра, не так ли? И вот — я к вам пишу... Здесь тихо и зелено, и в ближнем лесу, сразу за забором, растут на воле грецкие орехи и белые грибы. Забор — вот ведь в чем тут дело! Ведь мы, строго говоря, отгорожены этой гнусной стеной от грибов и орехов, изолированы от мира, заключены внутри огородки — мы должны бы ее ненавидеть всеми фибрами души! Ничего подобного: внешний мир представляется нам отсюда чужим и враждебным и стена защищает нас от него. В этом загоне все вместе мы — племя, сплоченное одной заботой и общими интересами выживания. За стеной обитают другие племена, враждебные и чуждые нам. Там мы должны маскироваться, скрываться, молчать о своем отличии от других людей — как будто это позор, а не

беда. Здесь, среди своих, мы свободны вести себя как нам вздумается, и это облегчает душу».

— Это пока он там, — задумчиво покачивая коньяк в рюмке, сказал физик-теоретик. — Он вернется, и все это пройдет.

— «...Не один я так чувствую и думаю, — продолжал читать Мика Углич. — Это общее для всех нас — молодых, старых, независимо мыслящих и бесповоротно темных. Никто никого здесь этому не учил — противопоставленность внешнему здоровому миру так же естественна, как человеческое дыхание по обе стороны стены. Мы — социум, сбитый в союз не на профессиональной почве, а на основе медицинского приговора, не подлежащего пересмотру. Наше политическое устройство — тирания, во главе “Самшитовой рощи” стоит директор — сатрап Бубуев, над ним — секретарь райкома в Эпчике. Бубуев исправно платит налоги райкомовцам — бараниной, битой птицей, овощами из продуктового склада и милыми девушками из нашей народной среды».

— Как интересно... — в совершенной тишине заметил микробиолог. — Речь идет, несомненно, о больных с закрытой формой заболевания.

— «...Для украшения жизни, — держа письмо на отлете, продолжал Мика Углич, — мои товарищи по несчастью создали здесь нечто вроде тайного сообщества — орден тублиеров. Тублиеры! Я и сам, когда услышал это слово, не сразу сообразил, что здесь и тамплиеры-храмовники, и госпитальеры-туберкулезники в одном лице. Туберкулезные больные, строящие свой храм в Самшитовой роще. Ничего общего с масонами, Боже упаси! Скорее нечто родственное КВН».

— Вот это уже напрасно, — подал голос физик-теоретик. — Тайное сообщество — за это и в морге по головке не погладят. Остается только надеяться, что наш Сережа в этот орден не вступит.

— Верно, — обведя круг гостей своим судачьим взглядом, согласился Мика Углич. — А то ведь и всех нас начнут таскать, какие уж тут шутки... — И продолжал читать: — «...Мне предложен пост летописца ордена с

правом решающего голоса. Это, заметьте, немалая честь; мои познания в истории наконец-то сослужили мне хорошую службу. Религиозная составляющая рыцарства оставляет моих товарищей по несчастью совершенно равнодушными. Поиски Грааля возбуждают их интерес, они видят в них увлекательное приключение тамплиеров, погоню за сокровищем и спрашивают, была ли чаша изготовлена из золота и сколько она стоит на сегодняшние деньги. Они и сами с радостью направили бы свою энергию на поиски чего-нибудь стоящего, но в окрестностях Самшитовой рощи нет ничего, что могло бы послужить хоть какой-либо приманкой для кладоискателя. Великий магистр тем не менее задался целью увлечь своих рыцарей каким-нибудь полезным трудом и поручил им составить подробную географическую карту района, наподобие старинных рисованных карт, и особо обозначить на ней все медицинские учреждения, связанные с лечением туберкулеза. Впоследствии он намеревается расширить свою карту до границ Союза, подсчитать количество туберкулезных лечебных центров и вывести общее число больных с шестью, по его убеждению, нулями. Такая объединенная армия тубплиеров добьется для всех нас чудодейственного американского стрептомицина, доступного сегодня лишь горстке привилегированных больных из лечсанупра Кремля».

— Диверсия через намерение... — пробормотал микробиолог, отсидевший при Сталине семь лет в лагерях. — Ох-хо-хо!..

— «...Народ здесь вполне приятный, — взглянув на микробиолога без всякого выражения, продолжал Мика Углич, — своего рода скол общества: от люмпенов до среднего чиновничества, болезнь метит всех подряд. А у высокого начальства своя компания, они и лечатся отдельно: “полы паркетные, врачи анкетные”. Ну да это, друзья мои, вы знаете и без моих подсказок. Во всяком случае, мои новые знакомцы — люди весьма общительные и, что особенно приятно, не склонные заострять внимание ни на собственных, ни на чужих тяготах. Со всем наоборот. Реально ощущая кувалду болезни над

своей головой, они привольно живут, как птицы на ветке, не жалуясь и не комплексуя, по известному принципу “день да ночь — сутки прочь”. Возможно, именно такой подход к жизни оберегает их от саморазрушения. С одним из них, московским книжным графиком и творцом идеи сообщества тубплиеров, я очутился в одной палате. Он предложил мне написать статью о рыцарях-тамплиерах в газету нашего ордена, первый номер которой выйдет под девизом “Туберкулезники всех стран, соединяйтесь!”. Этим я и займусь сегодня же вечером».

Мика Углич отложил письмо и потянулся за рюмкой. Гости молчали, взвешивая услышанное.

— Кто бы мог подумать, что Сережа такой рискач, — произнесла наконец Лира Петухова. — И этот девиз...

— Эту тему я не стал бы обсуждать в письмах, — заметил микробиолог. — Нет, не стал бы...

— На той неделе я написал обстоятельное письмо моим московским друзьям, — сказал Сергей Игнатьев. — О нас. — Он легко кивнул Семену с его Эммой, потом Владу Гордину. — Об ордене... Знаете, здесь, в Роше, очертания реальной действительности смещаются: забор, подобно Великой Китайской стене, защищает нас от опасностей внешнего мира. Забор и палочка Коха.

— Волшебная палочка, — пробормотал Влад Гордин. — Наше секретное оружие.

— Ни один из моих друзей, — продолжал Сергей Игнатьев, — находясь в здравом уме, не стал бы даже упоминать в письмах само существование тайного сообщества тубплиеров. А я здесь всего несколько дней и уже почти свободен: пишу и говорю, во всяком случае, что вздумается.

— Свобода слова во владениях ордена не подвергается сомнению, — сказал Семен Быковский. — На всей территории — от стены до стены, от центральных ворот до особняка Бубуева.

— И никакой вам цензуры, — добавила рыжая Эмма. — Цензура — это у них, там... — Она повела тонкой, голу-

боватой в предвечернем свете рукой в сторону забора, как в направлении границы сопредельного сердитого государства.

Они сидели в круглой беседке, початая бутылка коньяка на фанерном ящике из-под макарон отсвечивала чайным янтарем. Кругом, в потемневших уже кустах, подомашнему привычно трещали цикады.

— Даже не верится, — сказал Влад Гордин. — И забор-то — раз плюнуть: ни Карацупы, ни собачки его.

— Два мира, — подвел черту Сергей Игнатъев. — Вот и весь сказ...

— Два мира — два Шапиро, — пробормотал Влад.

Сергей Игнатъев расслышал и, коротко взглянув на Влада Гордина, ухмыльнулся: он знал эту московскую шутку об американском корреспонденте Шапиро и его советском однофамильце.

— А помните, — спросила Эмма и дотронулась острым пальцем до колена Сергея Игнатъева, — вы, когда только приехали, сказали, что Бог — есть?

— Не совсем так, — любезно откликнулся Сергей. — Это я у вас спросил, есть ли Бог, и вы ответили, что в общем-то нет.

— Так вот, — твердо объявила рыжая Эмма. — Бог все же есть.

— Я тоже так думаю, — согласился Сергей Игнатъев. — Все же есть.

— Должен быть, — уточнила Эмма.

— Должен? — переспросил Сергей. — А почему?

Семен и Влад прислушивались внимательно.

— Ну, вот все это... — Эмма, ведя рукой, указала на беседку, круглый купол над беседкой и небо над круглым куполом. — Кто-то же должен был это все сделать.

— Все это... — повторил Сергей Игнатъев. — Значит, Все Это — и есть Бог?

— Ну, примерно, — сказала рыжая Эмма. — Можно и так сказать. Всё — и мы тоже.

— А как же Дарвин с его обезьянами на дереве? — с усмешкой спросил Семен Быковский. — Ты же Дарвина проходила в школе?

— Ну проходила! — сердито сказала Эмма. — Я в это не верю, и все. Ни на каком дереве я не сидела. Никогда. И в Адама с Евой я тоже не верю.

— «Разруби дерево — я там, — немного нараспев произнес Сергей Игнатьев, — подними камень, и ты найдешь меня там».

— Здорово как! — сказал Влад. — Что это?

— Евангелие от Фомы, — ответил Сергей.

— Его вроде в Библии нет? — спросил Семен.

— Древняя цензура не пропустила, — пояснил Сергей Игнатьев.

— А ты читал Библию? — удивилась Эмма.

— Листал, — сказал Семен Быковский. — У бабушки покойной была, потом пропала куда-то.

— Я бы тоже почитала, — сказала Эмма. — Но ее ж не достать! А будешь искать, спросят: «Зачем?»

Кто именно спросит и что за этим последует, не стали уточнять: это и так было ясно как день.

— Я в прошлом году летал в Новосибирск, — заговорил Влад, — очерк писал об Академгородке. Вечером собрались посидеть, ребята все молодые, институтские ученые, они хотят литературное кафе там открыть, название даже придумали — «Под интегралом». Сидим, выпиваем. И вот один парень, биолог, начинает говорить о Боге — но как! Как о своем, допустим, профессоре, с которым он каждый день задачки какие-то решает на доске. И все слушают, никто не удивляется. У меня просто глаза на лоб полезли. И никто, главное, не боялся, что донесут! Что стукнут и прикроют всю эту лавочку!

— Может, им разрешают, — предположила рыжая Эмма, — поэтому они и не боятся. И читают, что хотят: хоть Фому, хоть Ерему.

— Читают наверняка, — сказал Сергей. — «Если слепой ведет слепого, оба падают в яму». Это тоже из Фомы.

— А если зрячий ведет слепого, — продолжил Влад Гордин, — то оба обойдут яму.

— Ловчую, — уточнил Сергей. — Ловчую яму.

— Ну да, — сказал Влад. — Вы наш поводырь, вот и ведите.

— Зámка у нас пока нет, поэтому давайте соберемся в «стекляшке» сразу после ужина, — предложил Семен Быковский. — Место проверенное. Надо же, в конце концов, понять, что у нас общего с тамплиерами.

— С рыцарями военно-монашеского ордена тамплиеров у нас нет ничего общего, — дружелюбно оглядев сидевших за столиками чебуречной на речном берегу, начал Сергей Игнатьев. — Ровным счетом ни-че-го! С чем я всех нас и спешу поздравить: жизнь крестоносцев была трудна, а конец ордена, не про нас будь сказано, — трагичен. Не хочу вас расстраивать, но последний Великий магистр, его звали Жак де Моле, был осужден инквизицией и погиб на костре. — Начало было захватывающим. В густой тишине Сергей взглянул на Семена Быковского, и тот ответил ему кривой улыбкой. — Кстати, а как нам друг друга называть? Соратниками? Но мы не рать, а наш магистр, — он снова взглянул на Семена, — не генерал и не маршал. Кроме того, само это слово — «соратники» свидетельствует о дурном вкусе: от него несет тленом и дешевым популизмом. Сотрапезники? Но не трапезная же нас объединяет, не столовый корпус, да и хлеб уже давным-давно не преломляют в торжественном молчании, а кромсают в хлеборезке. Собутьльники! Вот кто мы такие! К тому же и тамплиеры, говорят, не чужды были вина в своем кругу, а то и «святой травки» для поднятия настроения. За травку по нынешним временам можно отправиться в места не столь отдаленные года на три, а вино у нас не под запретом, и рюмка-другая укрепляет наш дух хоть перед инквизиторами, хоть перед общим собранием трудового коллектива... Итак, собутьльники, мы отличаемся от прочих сами знаете чем и это тайное отличие объединяет нас в касту неприкасаемых. Были кастой и рыцари храма Соломона, гордой кастой людей, владевших тайной. А чем важней и совершенней тайна, тем сильней хотят проникнуть в нее непосвященные. Нищий поначалу орден, чьи рыцари демонстративно разъезжали по двое на одной лошади, стал вдруг богатеть на глазах, начальство ездило уже одвуконь, и это

возбуждало зависть и раздувало любопытство: что такое знают тамплиеры, что за тайну они хранят от широкой публики? Перешептывались и о Граале — кубке со стола Тайной вечери, и об окрашенном кровью Христа копье Лонгина, и даже о высушенной голове Иоанна Крестителя. Все эти святые предметы, по разумению обывателя, могли принести владельцу успех во всех начинаниях, удачу в делах и большие деньги.

На этом интересном месте рассказ Сергея Игнатьева был прерван ревом и грохотом, прилетевшими с неба. Слушатели и рассказчик недоуменно вертели головами. Миша Лобов с охотой дал объяснение происшествию.

— Самолеты репетируют, — перекрикивая шум, сказал Миша Лобов. — По радио передавали: завтра Ленина будут скидывать на перевале.

— Как скидывать? — выкатила свои голубые шарики Валя Чижова. — Ленина?

— Ну да, — подтвердил осведомленный Миша Лобов. — Комсомольцы спустят его на парашюте и установят на перевале. Подарок ко Дню парашютиста.

Теперь картина прояснилась, все встало на свои места. И грохот небесный укатил от Самшитовой роши дальше в горы.

— Король крестоносцев Балдуин Второй, — продолжал, покачав головой, Сергей Игнатьев, — отвел тамплиерам помещение в одном из крыльев разрушенного римлянами храма на холме Соломона, в самом центре Иерусалима. Храмовники там обустроились и взялись за раскопки — надо сказать, что холм был изрыт древними тоннелями, как муравейник. Никто не знает доподлинно, на что они там наткнулись под землей, на какой клад. Но дела их действительно пошли лучше некуда. Они, с одной стороны, были прекрасными воинами и охраняли христианских паломников, хлынувших в Святую землю, с другой — основали международную банковскую систему: путешественники теперь не зашивали золотые монеты в полу, а сдавали свои деньги в отделение ордена в Европе и получали их, за вычетом, разумеется, комиссионных, в Иерусалиме, неподалеку от

того места, где Иисус разогнал менял и торговцев. Зато не надо было теперь дрожать, что разбойники с большой дороги нападут на путника и выпотрошат его, отнимут все до последнего гроша. Сбережения тамплиеров росли, как тесто на дрожжах, к ним уже и короли обращались за ссудами. А кредит, как известно, портит доверие: берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда...

С этим нельзя было не согласиться; древние заботы представлялись обитателям Самшитовой рощи теплыми и близкими, как будто не века отделяли тубплиеров от их предприимчивых предшественников, а вытянутая в темноте рука с растопыренными пальцами... Тем временем небесный рев снова накрыл Рощу — комсомольские самолеты зашли на второй круг на бреющем полете: Ульянова следовало доставить завтра на скалу без неприятных случайностей и накладок. Вжав головы в плечи, собутыльники терпеливо пережидали тревожное рычание небес, а горцы в своих саклях яростными взглядами сверлили трясущийся потолок, от горящего взора абрека Мусы почти дымились ветви лесного шалаша. По разумению Мусы, русскому вождю мирового пролетариата уместней было бы стоять на пригорке где-нибудь в Тамбовской губернии, а не на кавказском кряже.

— Забегая вперед, — продолжал между тем Сергей Игнатьев, — скажу, что именно деньги — как раз то, что нам с вами никак не грозит, — довели орден до беды. Французский король Филипп Красивый потянулся к деньгам тамплиеров, папа Климент Пятый не выдержал нажима и поддержал короля. Инквизиторы взялись за дело: за один день, оставшийся в истории под названием «черная пятница», могущественных еще накануне рыцарей-храмовников переловили и отправили в тюрьму. Процесс был задуман Филиппом Красивым с большим размахом. Следователи инквизиции действовали по безошибочному методу: «Был бы человек, а статья найдется». Под пытками на дыбе рыцари признались в страшном обвинении — ереси и поклонении дьяволу. «Признание — царица доказательств»; истерзанных подсудимых ждал костер. Корчась в огне, Великий магистр

де Моле отрекся от своих показаний, проклял и короля, и папу со всем их потомством на вечные времена и предрек им скорую гибель. Чудеса хоть и редко, но случаются на нашем свете: через две недели после казни магистра умирает от кровавого поноса в диких корчах папа Климент Пятый. Еще через четыре месяца, перевернув с ног на голову замки и штаб-квартиры тамплиеров и не найдя ни гроша из их баснословных капиталов, здоровяк Филипп Красивый сражен апоплексическим ударом; смерть его мучительна. На протяжении четырнадцати лет вслед за отцом-королем следуют, погибая один за другим при загадочных обстоятельствах и не оставляя потомства, три его сына, прозванные в народе «проклятыми королями». Со смертью последнего из них, Карла Четвертого, династия Капетингов прервалась. А за сокровищами тамплиеров искатели приключений охотятся по сей день.

Игнатъев умолк и отхлебнул коньяку из рюмки.

— А что там было? — спросила впечатлительная Валя Чижова. — Золото?

Этот вопрос, впрочем, не давал покоя никому из слушателей, как увлекающихся, так и настроенных скептически. Как же так?! Было золото, целые сундуки. И вдруг все пропало без следа. Найти, видите ли, ничего не смогли. Значит, плохо искали! Или другие украли и перепрятали... Так или иначе, тублиеры готовы были без промедления, не откладывая дела в долгий ящик скакать из Самшитовой рощи на поиски не разграбленного покамест имущества тамплиеров хоть во Францию, хоть на финиковые берега библейской реки Иордан.

— Может, золото, — помолчав, сказал Сергей Игнатъев и плечами пожал. — А может, что и подороже. Книжки, например...

Сновидения никогда не преследовали Влада Гордина — он спал без снов и сердечно сочувствовал сновидцам, озабоченным ночными картинками и гадающим, что та или иная из них означает. Сон приснился Владу лишь однажды, с перепоя; случилось это года два назад в Сибири, на молочной ферме. Как видно, смешавшись в же-

лудке с местным ужасным сучком, молоко образовало дурную среду, и сон по этой причине тоже проклюнулся дурной и дурацкий: неведомая холодная сила разогнала Влада Гордина и понесла его на провода электропередачи, которые бы и рассекли его на кровавые пласты, не проснись он в самый последний момент. И на том спасибо...

Так сложилось, что отношение читающего человека Влада Гордина к русской литературе определилось в изрядной степени под влиянием снов героев и героинь замечательных, кто бы спорил, произведений. «И снится чудный сон Татьяне». Достоевский с его сонным дядюшкой и бредовыми видениями Раскольниково. Граф Лев Толстой, патриарх мысли и зеркало революции, не избежал соблазна нагрузить снами свою Анну. Еще в школе, продираясь сквозь классические литературные заросли, Влад Гордин спотыкался о сны, как о чугунные рельсы в траве. Четыре сна Веры Павловны в ее сползших чулках вначале неприятно насторожили Влада, а затем сделали его решительным неприятелем революции вообще и Николая Гавриловича Чернышевского в особенности. Едва уцелев в полете над сибирским коровником и уклонившись от гибельного удара о провода, Влад вскоре отошел и успокоился: сны его больше не навещали и он был почти уверен, что это уже навсегда. Он даже немного гордился своим умением спать без снов, объясняя эту особенность организма крепостью нервной системы.

После рассказа Сергея Игнатьева о горькой судьбе тамплиеров, затянувшегося допоздна, тубплиеры разошлись по своим палатам растревоженными и задумчивыми. Людская несправедливость беспокоила их сердца: благородных рыцарей оболгали, предали и вдобавок сожгли на костре — и все ради того, чтобы дотянутся до их денег. Это было подло, это было гнусно. Но с тех далеких времен мало что изменилось, и, будь у тубплиеров карманы набиты золотом, их бы тоже ждал грабеж и, скорее всего, смерть в расстрельном подвале или сибирских лагерях. Выходило так, что советская народная нищета и полное безденежье служили им надежным щитом.

том, а туберкулезное единство никого, кроме самих тубплиеров, не привлекало и никому не кололо глаза. И тут было над чем призадуматься...

Переваривая услышанное и усваивая выпитое, тубплиеры в своих казенных коечках придирчиво рассматривали ночные картины. Семен Быковский видел, как, следуя мимо него на костер, Великой магистр подает ему прощальный знак рукою, — и вот уже его самого, Семена, палачи в шляпах с синей тульей тащат, волоча по земле, на соседний костер и поджигают хворост. Кутаясь в одеяло, прерывисто дышала рыжая Эмма: плавно перебирая руками горсти красивых рыцарских монет в коричневом кожаном сундуке, она даже слышала музыкальный звон золота — но не было ни одного кармана на ее одежде, Эмма не знала, как унести богатство, и очень от этого страдала. Стукач Миша Лобов, напротив, спал вполне спокойно и составлял во сне подробное донесение своему куратору о тайном, на берегу ручья, антисоветском сборище заговорщиков под прикрытием рыцарской сходки. Ганзейцу Сергею Игнатьеву снился дом в тихом арбатском переулке, Лира Петухова в кругу друзей и Мика Углич с судачьими глазами. А Вале Чижовой, как и рыжей Эмме, снились россыпи золотых монет и перстней. Засучив рукава и согнувшись над сундуком, Валя шуровала там голыми по локоть руками и, за неимением карманов, ссыпала содержимое в собранный в кошель подол широкой юбки. С этим богатством она собиралась бежать к Владу и уже с ним вместе решать, как быть дальше.

А Влад, в своем женском корпусе улегшись на коечке против профсоюзного кубинца, закрыл глаза — и вдруг, к тревожному удивлению, почувствовал бесшумное приближение из темноты целой вереницы ночных картин.

Первый сон Влада Гордина

Владу Гордину снился Иисус из Назарета. Сын Иосифа спускался по теплому склону горы к озеру, отливавшему в рассветный час розовым перламутром. Путник

шел не спеша, выбирая, куда ставить ногу. Низовой ветерок загибал траву склона в восьмерки. На берегу, словно бы только-только выйдя из воды и обсыхая в первых лучах солнца, топорщились рыбацкие хижинки деревеньки Мигдал. Белая длинная рубаха свободно свисала с плеч галилеянина, скрадывая контуры его сухошавого, ловкого тела. Поверх рубахи коричневел аккуратный на брошенный, грубого рядна плащ, на который, разложив его, можно было прилечь бесприютной ночью либо укрыться им.

Высоко выставив зады и пятясь подобно поломою, два рыбака выкладывали ночной улов на прибрежных камнях. Горстка покупателей из соседней Тибериады — охотников за дешевизной — терпеливо переговаривалась, наблюдая за работой рыбаков. Покрытые прохладной чешуей рыбы бока влажно блестели. Иисус, приблизившись, оглядел рыбаков в их диковинных позах и, не обнаружив среди них того, которого искал, приставил ладонь дощечкой ко лбу. Поворачивая голову от плеча к плечу, он обвел глазами озеро и удовлетворенно опустил руку к земле и ее камням: два челна, низко просев, направлялись к берегу, а в третьем рыболов, свесившись через борт, тащил сеть из воды.

Между тем тибериадцы принялись разгуливать от камня к камню, разглядывать товар и справляться о цене. Рыбаки отвечали без подъема, как бы через силу — они хотели поскорей сбыть улов и не склонны были к торговой суете, в то время как пришедшие сюда ни свет ни заря горожане по пути настроились торговаться от всей души и сбивать цену, и без того невысокую.

— Это почему? — расслышал Иисус кривого мужичка с плетеной корзинкой в руке. — Вот это?

Иисус поглядел и увидел длинную темно-серую рыбину с закатными глазами на широкой усатой голове.

— Это не «это», — заметил Иисус. — Это сом.

— Что это меняет, кроме цены? — охотно откликнулся Кривой. — Вот окунь, вот сардинка, — со знанием дела он указывал на рыб, разложенных на камнях. — А это, — вернулся Кривой к сому, безучастно дожидавше-

муся свой участи, — совсем не то. Можно его назвать в самом крайнем случае «другая рыба».

— Вот как... — сказал Иисус. — Не проще ли обозначить его по имени — сом?

— Нет-нет-нет! — закричал Кривой и, бросив плетеную корзинку наземь, поспешно заткнул уши пальцами. — Кто тебя тянет за язык! Сразу видно, что ты спустился с гор, а не живешь у воды!

— Я утверждаю очевидное, — пожал плечами Иисус. — А ты, как говорят варвары, наводишь тень на плетень и морочишь голову честным людям.

— Ничего я не морочу! — возразил Кривой и приступил к разъяснениям: — Рыбу, без пробелов обтянутую чешуей от головы до хвоста, можно есть в свое удовольствие в любое время и в любом виде. А это, — повел он голову в сторону злосчастного сома, лежащего на камне особняком от своих собратьев по несчастью, как гой за забором еврейского кладбища, — вообще не покрыто чешуей, ни одной чешуйки там нет — оно все голое. И его нельзя есть, вот в чем дело.

— Зачем тогда прицениваешься? — строго спросил Иисус.

— Так ведь эта рыба вполонину дешевле окуня, а то и в три раза, — сказал Кривой.

— Значит, ты, — продолжал расспрашивать Иисус, — собираешься показывать ее тибериадцам и взимать с них деньги за погляд? Или хочешь с выгодой продать римлянам, которым, в отличие от нас, все равно, голая она или покрыта чешуей, как легионер?

— Не то и не то, — теребя сома веточкой, ответил Кривой. — Можно купить его по дешевке и съесть — но только не называть по имени! «Другая рыба» — а какая другая? Или «это» — что еще за «это»?

— Мошенничество! — определил Иисус намерения Кривого. — Грех!

— Ничего подобного, — отвел обвинения Кривой. — Голодные утолят голод, даже не подозревая, чем они набивают кишки, и благословят меня. А я один буду знать, что «это» — сом (слово «сом» Кривой произнес шепотом), и к нему даже не притронусь.

Спор с жестоковымым мошенником огорчил Иисуса. Он взглянул на озеро: третий челн уже загрузился добычей и теперь скользил к берегу Микдала следом за первыми двумя. За веслами третьего челна сидел чернобородый рыбак, коренастый и крепкий как камень.

— Голодные тут ни при чем, — сказал Иисус, с неохотой отводя взгляд от чернобородого. — Сомы нельзя есть не потому, что он голый, а потому, что это запрещено. Вся жизнь состоит из запретов и разрешений, и если их смешать в кучу, то в мире воцарится хаос и тоу-вавоу. Окуня есть можно, а сома — нет, нельзя. Обходя запрет, ты нарушаешь общий порядок вещей и подталкиваешь мир к хаосу.

— Кто, я? — улыбаясь недоверчиво, переспросил Кривой. — Да кто я такой, чтоб подталкивать? Царь, что ли? У меня даже второй пары сандалий нет.

— А зачем она тебе, — вдруг улыбнулся и сын Иосифа, — если та, которая на ногах, вполне еще годится для ходьбы? А царю — зачем? Разве у царя четыре ноги, как у зверя лесного?

Чернобородый рыбак подвел свой челн к берегу и выпрыгнул на камни, и Иисус, улыбаясь открыто и широко, шагнул ему навстречу.

В горах рассвет короток — ночь расторопно сменяется днем, как по военной команде. Но минуты пересменки хороши и прекрасны, и небо в раме из горных вершин на глазах меняет цвета: вот оно черно-золотое, потом розовое с серым, багровое по краю, и, наконец, упругая густая синева властно заливает все небесное пространство, не оставляя и следа от рассветных подвижек.

Влада Гордина разбудил свист и цокот птиц за окном. В полутьме палаты кубинец Хуан на своей койке у противоположной стены сопел и скрежетал зубами. Лежа с закрытыми глазами, Влад пожалел о том, что так ему и не удалось узнать, что же такое нашли тамплиеры в подземелье Соломонова храма, — а ведь совсем близко очутился он к раскрытию тайны! Повернувшись лицом к стене, он вызывал в памяти и разглядывал последнюю

ночную картинку: на каменистой площадке пред озером галилеянин улыбается чернобородому рыбаку, кривой тибериадец задумчиво скребет в затылке, а усатый сом валяется на земле, в стороне от других рыб улова. Пролистав альбом олеографических картинок ветхозаветной старины, Влад остался удивлен: тот мир оказался торговым миром, миром торга, где базарят меж собою цари, рыбаки и плетельщики корзин. И уже вокруг центрального всеобщего базара вспыхивают как светляки в тумане иные интересы и пристрастия.

А Казбек вольготно выпался в своей сакле и поднялся до света. День ему предстоял хлопотный, с плотной программой. К восьми утра он был уже высоко в горах, далеко от Самшитовой роши — на границе льда и камня. Там, в подходящей для ночевки пещерке, ждали его двое молодых людей — чабан Мурад и бакинский студент Джабраил. Из пещеры Казбек с молодыми людьми, оставаясь незамеченными, наблюдали за перевалом Струганая Доска — вид на него открывался просто замечательный, как на освещенную сцену из ложи партера.

Не сводил глаз с перевала и абрек Муса из своей каменной времянки на плече горы, под самой снежной кромкой. Муса гневался: явление Ленина народам Кавказа вызывало в душе абрека сильное отвращение.

Самолеты появились в небе близко к полудню. Рыча моторами, они сделали круг над перевалом и поползли вверх, готовясь расстаться со своим грузом — обтянутой революционным кумачом корзиной с торчащим из нее серебряным Ульяновым в народной кепке и передовыми отборными комсомольцами, сопровождающими вождя в его полете. Добравшись до намеченной высотной точки, самолеты сбросили что надо и улетели восвояси. Целый букет парашютов распустился над серебряной скульптурой и не давал ей, вступая в противодействие с законами природы, рухнуть на камни перевала. Дюжина комсомольских парашютистов, образовав неровный защитный пояс корзины с вождем, спускалась вместе с ним.

А горный ветер, вопреки всем расчетам, вольно дул и сносил красную корзину с Ульяновым в сторону от

перевала Струганая Доска. Чем ближе к земле, тем сильнее свистел и наддувал ветер, нарушая запланированную стройность полета революционной корзины и комсомольских активистов, летевших теперь врассыпную.

Сила всемирного тяготения помаленьку преобладала, мать-земля с ее камнями неотвратно надвигалась на парящих в праздничном воздухе комсомольских активистов. Над перевалом Струганая Доска вольный ветер выл и гудел, как в печной трубе. Ульянов в своей корзине угодил в ветроток, был закручен-заверчен, словно восьмиклассница в вальсе на школьном балу, прижат к неровной поверхности и приземлился без видимого ущерба недалеко — рукой подать — от точки перевала. Отважные же комсомольцы оказались бессильны перед ходами судьбы: часть из них, двое или трое (точная цифра удерживалась в строжайшей тайне вышестоящими компетентными органами), была захвачена ветродуем, оторвана от коллектива, отнесена к скальной гряде и там расплющена. Вечная им память. Безумству храбрых поем мы песню: безумцы украшают наш мир, хотя можно было бы смело обойтись и без этих украшений.

Уцелевшие комсомольские парашютисты, приземлившись и отряхнувшись, огляделись окрест и принялись вслушиваться в шум дикой природы. Дело в том, что Ульянов перед прыжком был снабжен секретным военным клаксоном, который в момент приземления автоматически включался и начинал страшно квакать, привлекая тем самым внимание тех, кого надо. В нашем случае это были комсомольцы сопровождения. Заслышав условный зов, они тотчас направились к вождю, потрясенно выглядывавшему из своей корзины.

Сидевший совершенно неподвижно абрек Муса с интересом наблюдал за происходящим из своего укрытия. Глядя, как тройку молодых людей под куполами парашютов потащило сквозным ветром вдоль ущелья и влепило в скальную стенку, Муса оживился, заклекотал и зацокал языком. Абрек клекотал и цокал без всякой радости, но и сожаления по поводу разбитых о камень комсомольских жизней в том орлином цоканье не содер-

жалось никакого. Да и какой орел — хоть горный, хоть низинный или даже двуглавый византийский — повел бы себя иначе, зорко следя за опасным приключением комсомольцев!

А оставшиеся в живых парашютисты ловко подхватили Ульянова вместе с его корзиной и, отключив опознавательный клаксон, потащили вождя пролетариата к скромному бетонному постаменту с торчащим железным штырем, неделю уже назад установленному на перевале Струганая Доска пешею бригадой. Добравшись до цели, комсомольцы перевели дыханье, снова напряглись и на счет «три» с гаком оторвали вождя от земли. Надежно насаженный на крепежный штырь, Ульянов утвердился, как влитой, на бетонном подножье, над пропастью. Залить соединительный шов специальным американским клеем, способным склеивать воедино железо и камень, не заняло много времени. Дело было сделано. Умей памятник размахивать кепкой и говорить слова, он не мешкая воскликнул бы в восторге победного порыва: «Кавказ подо мною!»

Но торжествовать победу было рановато. Дождавшись, когда комсомольцы, вытянувшись цепочкой, с чувством выполненного долга покинули Струганую Доску, двое молодых людей — студент-историк и бараний чабан — распрощались с Казбеком в его пещерке и, уверенно держась на пружинных ногах, поспешили вниз, в аул Хиндатль. Там, в ауле, гонцов нетерпеливо дожидались шестеро крепких горцев допризывного возраста, готовых к пешему переходу по высокогорью. Обманувшийся в своих предположениях Казбек — он был уверен, что вслед за комсомольцами на перевале появятся альпинисты-спасатели, чтобы отскрести от скальной стенки то, что осталось от тройки разбившихся парашютистов, — с наступлением ранних сумерек выбрался из своей пещеры, спустился на перевал и теперь критически разглядывал Ульянова с расстояния вытянутой руки. Подоспели к темноте и двое давешних молодых людей в сопровождении своей вполне боеспособной шестерки допризывников.

А куда подевался абрек Муса, не знал никто: ни Казбек, ни орел, ни советская власть.

Молодые люди не теряли времени даром. Вместе со своей шестеркой они расколотили, пользуясь долотами и зубилами, не схватившийся еще намертво дорогой импортный клей. Затем, поплевав в шершавые ладони, взялись трясти и раскачивать Ульянова на его штыре. И, расшатав фигуру, одним согласованным тычком спихнули ее с обрыва в пропасть.

12

Бежевая картонная папка с маркировкой «4781-К» с сегодняшнего утра лежала на столе следователя по особо важным делам Андрея Зворыкина, тридцатидвухлетнего капитана КГБ. Сам капитан сидел в служебном кабинете, в случайном залосненном кресле, за столом, в тумбе которого помещалась початая бутылка портвейна «777», а на покрытой зеленым сукном столешнице, справа от захлопнутой папки, желтел в стакане остывший чаек с вялой долькой лимона.

Папка была захлопнута, но не завязана — распущенные тесемки, похожие на шнурки для ботинок, свидетельствовали о том, что капитан ознакомился с ее содержимым. Да и как уж тут не ознакомиться, если сброс Ленина в пропасть начальство отнесло к особо важным делам и срочно сообщило о преступлении в Центр, в Москву! Где пролегает граница между делами особо важными, важными и как бы не важными, не догадывался никто в отделе КГБ по Эпчинскому району. Да никто и не гадал: все дела, включая государственные и антигосударственные, шли гладко, район из года в год перевыполнял план по сбору абрикосов и лесных орехов, в кабинете секретаря райкома незыблемо стояло переходящее Красное знамя, давно уже превратившееся в непереходящее. Важность будоражащих происшествий, записанных в разряд антисоветских действий, определял своим волевым решением начальник РО КГБ майор

Гаджимагомедов, нацкадр. Решение начальника носило окончательный характер и не подлежало пересмотру.

Ознакомившись с содержимым папки, капитан Зворыкин выпил портвейна и призадумался: вождя мог скинуть любой, грубо говоря, первый попавшийся чучмек, они все одинаковые — будь то старый бандит, бегающий по горам со своим мешком, или первый секретарь райкома из сельских выдвиженцев. (В глубине безмятежной души Зворыкин соблюдал совершенное спокойствие: советская власть в подведомственном ему районе была непоколебима и никакие скидывания ей были нипочем.) Скинули — а мы опять поставим, скинули — а мы опять... А если даже поймать этих кидунов и засадить их годков на пятнадцать, то это ничего хорошего на местах никому не принесет: местное население только разозлится. Ну кому нужен Ленин на этом перевале? А если уж привезли, то надо охрану ставить круглосуточную — тогда не скинут. И это тоже должно быть ясно в Москве.

Настораживало другое: к сообщению о надругательстве над вождем партии был подложен отчет добровольного помощника из туберкулезного санатория «Самшитовая роща» под псевдонимом Хобот. Хобот обстоятельно, со знанием дела осведомлял о том, что в санатории активно действует подпольная организация больных, имеющая религиозно-исторический характер и поддерживающая контакт с местными жителями в количестве одного. Осведомитель внедрился в организацию и теперь ведет наблюдение изнутри.

Вот эта связь с местным жителем настораживала капитана Зворыкина, да и члены подполья, как следовало из донесения, ведут себя странно: выпускают газету под антисоветским названием «Туберкулезная правда», слушают какие-то лекции про древних зарубежных монахов. Вся эта история тянула на групповое дело, и, если он, капитан, его прошляпит, майором ему не стать уже никогда, а то и из органов наладят.

Не то чтобы Андрей Зворыкин так уж опасался заговора против диктатуры рабочих и крестьян в гнилых недрах туберкулезного санатория. Но туда, в «Самшитовую

рощу», со всего Союза заносило каждой твари по паре: и инженеров, и учителей, и даже газетных писак. И эта ученая публика здесь, под самым боком, за санаторным забором, напрягала капитана Зворыкина: простой человек, хоть даже и чахоточный, против советской власти не пойдет — испугается, а ученые люди — дурные, никогда не знаешь, чего от них ждать. Старинные монахи их интересуют! А кого они имеют в виду под этими самыми старинными монахами? Вот это капитану Зворыкину следовало прояснить и выяснить.

Нельзя утверждать с высокой долей уверенности, что райцентр Эпчик являлся пупом всего обитаемого мира. Недоброжелатели и злопыхатели из областной столицы относили Эпчик к глухому провинциальному захолустью, да вдобавок еще и глумились, издевательски переиначивая название горного городишки — меняли «э» на «е», а «п» на «б», — и получали в итоге ругательскую нецензурщину. Неприятные люди, скандалисты! Ведь доказано передовыми учеными не без борьбы и кровопролития, что мир наш шарообразен, и по этой веской причине, не имея на поверхности никакой отправной точки, «пуп» его может располагаться где угодно: на Северном полюсе, в Нью-Йорке или даже в Москве, на Лобном месте. Конечно, центральная эпчинская площадь, имени почему-то Фридриха Энгельса, под прямым углом переходившая в голубую трехсотметровую пропасть, не могла соперничать с парижской Пигаль ни по каким параметрам, но это досадное обстоятельство ни в коей мере не ущемляло гордости эпчинцев и их горных гостей по той простой причине, что никто во всем районе ни сном ни духом не ведал о самом существовании площади Пигаль. Зато в Эпчике пять дней в неделю граждане мылись в бане, в ресторане «Горный орел» жарили шашлыки, а на той площади Энгельса из общественной уборной на одно очко, подвешенной на кронштейнах над пропастью, разглядывали в дырку незабываемый вид, от которого дух захватывало ничуть не хуже, чем от катанья на аттракционе под названием «американские горки». Безумству храбрых поем мы песню. По Эпчику, откуда эхо добега-

до и до дальних горных аулов, ходили разговоры о том, что еще один такой туалет для смельчаков функционирует только лишь на родине имама Шамиля, а больше нигде: там, в ауле Гуниб, тоже есть и площадь, и пропасть.

Эти захватывающие обстоятельства местного значения не имели ни малейшего веса в Москве, в Большом доме. Для старшего следователя полковника Шумякова, курировавшего из своего кабинета на третьем этаже Лубянки оперативные мероприятия на северокавказском направлении, они не могли значить ровным счетом ничего: в донесении о контрреволюционном сбросе фигуры вождя в обрыв о них не содержалось и намека. Зато в деталях и подробностях, со ссылками на осведомителя излагалась история создания антисоветского подполья на территории профсоюзного туберкулезного санатория «Самшитовая роща». И два этих происшествия тянулись друг к другу, сливались в одно и становились событием союзного значения.

Знакомство со статьей «Тамплиеры» в сорок первом томе БСЭ не просветило ничуть: полковник Шумяков представить себе не мог, зачем антисоветчикам понадобилась «крыша» рыцарского ордена. Настораживало и то, что древние монахи как-никак базировались и имели свой штаб в Иерусалиме, тогда, выходит дело, в Самшитовой роще следует искать сионистские корни...

Полковник, послунив палец, снова полистал тощую покамест пачечку документов. В поименном списке участников подполья он аккуратной галочкой пометил одно имя: «Игнатьев Сергей Дмитриевич, доктор исторических наук, г. Москва». Оперативку на этого доктора ему должны были доставить до обеда. Что же до других фигурантов заговорщицкой группы, то оперативный материал на них только предстояло поднять и обработать. Обидно, что ядро подполья составляли случайные людишки: какой-то никому не известный московский график, несколько молодых баб — домохозяйка, медсестра, третья — вообще антисоциальный элемент без определенных занятий. Один еврейчик, тоже москвич. И вот этот доктор.

Отдельно от сводного списка значился бродяга из местных по имени Муса. Этот Муса, уже старик, разгуливал по горам, полезным трудом не занимался и, как следовало из рапорта, вполне мог быть причастен к сбрасыванию В. И. Ленина. Связь бандюка Мусы с туберкулезными заговорщиками выводила все дело на другой, куда более ответственный уровень. Русские люди, включая еврея, вступили, выходит дело, в преступный сговор с местным несознательным населением.

Водя прокуренным пальцем по обложке папки противного бежевого цвета, полковник Шумяков рассуждал над тем, что, несмотря на всю смехотворность этой истории со сбрасыванием, делу придется дать ход. Эти дикари, эти чучмеки сидят себе в своих горных аулах, не представляя ровным счетом никакой угрозы центральной власти. Еще меньше неприятностей можно ждать от чахоточных в их санатории, назовись они хоть древними монахами, хоть даже древнееврейскими раввинами. А то, что скинули вождя в обрыв, — да, неприятно, но тоже ничего страшного: у них в горах так принято, они под Гунибом памятник царскому генералу семь раз уже скидывали под носом у партийного начальства. И что? — рассуждал полковник. Да ничего! И никому от этого ни холодно, ни жарко. Тут весь вопрос, как начальство посмотрит на происшествие. Если строго посмотрит, хмуро, всегда можно задействовать и старого разбойника, и сионистские корни, и этого доктора, оперативку на которого принесут уже с минуты на минуту.

Полковник Шумяков любил свое начальство всей душой. Сменялись министры и замы, генералы приходили и уходили, некоторые даже и в тюрьму, но Шумяков любил их всех стойкою любовью — до того, разумеется, дня, пока они сидели в своих кабинетах. Такая любовь была залогом спокойной жизни и укрепления служебных позиций. Нелюбовь к начальству — тут недооценили, здесь недовесили, там недолили — гарантировала, напротив, неизбежные неприятности. Поэтому горячая любовь приносила куда больше проку и прибытку, чем подтачивающая силы и здоровье неприязнь к начальству.

Полковника Шумякова отделяла от начальства всего лишь одна звезда на погоне, но зато какая — генеральская! Скрученная из парчовой нитки, на сплошном золотом поле. Рядом с тремя штампованными полковничьими звездочками эта начальничья роскошь выглядела как дворец рядом с поганой лачугой... Больше всего на свете Шумяков не хотел пересечь рубеж между ватагой подчиненных, где он счастливо обретался, и племенем начальников, поменять полковничий мундир на генеральский и переехать из лачуги во дворец. Нынешнее, полюбовное положение вещей его вполне устраивало. А в генеральском начальственном кресле на любви далеко не уедешь, разве что до ближайшего тупика. Без нервов и потрясений выйти на пенсию в полковничьем звании — что могло бы лучше сложиться! Но до пенсии было еще неблизко...

Он позвонил порученцу, чтоб принесли кофе. Полковник мало сказать, что кофе не жаловал — терпеть его не мог, отдавая предпочтение чаю с лимоном, с тремя кусками сахара. Однако Председатель пил кофе с сухарями, только кофе, об этом знал весь Комитет, и эта антинародная, между нами говоря, страсть высшего начальства определила линию поведения полковника Шумякова: на работе он тоже хлестал западный напиток, через силу, но хлестал.

Следом за кофе с сухарями доставили оперативку на доктора исторических наук Игнатьева Сергея Дмитриевича, специалиста по ганзейской торговле. На этом докторе, следовало из оперативки, пробы негде было ставить: он неоднократно был замечен в антисоветских разговорах, выражал сомнение в правильности сельскохозяйственной политики партии и ее вождей — рассказывал непристойные стишки о намерении партийного руководства перегнуть США по надою молока — и, главное, входил в постоянное окружение литературной антисоветчицы поэтессы Лиры Петуховой. Тревожные сигналы из кружка этой Лиры подавал добровольный помощник с двумя высшими образованиями, действовавший под псевдонимом Тюлень.

Прочитав документ два раза подряд, Шумяков, откинувшись в кресле, сложил пальцы в щепотку и вдумчиво почесал переносицу. Получалось так, что ничего пока что не получалось, и это было хорошо: петуховцы были просвечены и особых опасений не вызывали, а доходяги из тубсанатория сидели за своим забором и тоже никакой негативной активности не проявляли. Спешить, стало быть, в этом деле не следовало, но и загорать на припеке было никак нельзя: вопрос о сбрасывании начальство поставило ребром, через месяц, не позже, надо будет осветить предполагаемый ответ и продемонстрировать следственный прогресс. А пока пускай себе отбредивается отдел спорта ЦК комсомола — это они там придумали для доставки вождя кидать своих людей прямо на камни, вот трое и расшиблись насмерть. За это никого по головке не погладят: не с печки свалились, а упали при выполнении ответственного государственного задания. Пали, можно сказать.

Насвистывая тихонько доходчивую мелодию патриотической песни «Вы жертвою пали в борьбе роковой», полковник Шумяков закрыл папку и завязал тесемки бантиком. Ехать на Кавказ не хотелось, но ехать было нужно.

Почта — вот, пожалуй, единственное, что вносило будоражащее разнообразие в размеренную жизнь туберкулезного санатория «Самшитовая роща». Ежедневное, около полудня, появление почтовой машины в воротах санатория ждали, нетерпеливо поглядывая на дорогу. Почтарь за рулем раздолбанного «козлика» — крытого брезентом ГАЗа-69 — был вестником из другого мира, с воли, откуда приходили письма, посылки и денежные переводы и куда, несмотря ни на что, свободный вход для обитателей Рощи был закрыт до окончания срока. Поэтому почтаря дожидались здесь все без исключения — даже те, кто весточек вообще не получал: а вдруг кто-нибудь о них вспомнит, возьмет да и напишет. И это отчасти напоминало картину получения почты в лагерях, на зоне; от значительной, если вдуматься, части.

О советской почте можно написать венок сонетов, и в этом венке преклоненье будет переплетено с почтительной любовью. Один дурак-романист сочинил слюнявую историю о деревенском деде-почтальоне, замечательном добряке и гуманисте, расклеивавшем и читавшем по складам письма пред тем как вручить их адресатам; «плохие» письма, содержавшие дурные вести, дед сжигал в печи и обращал в пепел и прах... Враки! «Правом первой ночи» и на добрые, и на дурные вести, адресованные гражданам, обладала только и лишь советская власть — ее специально обученные цензоры-перлюстраторы, искавшие в письмах как прямую антисоветчину, так и извилистый неконтролируемый подтекст. Такой поголовный контроль был жизненно важен властям, поэтому почтовое ведомство работало как швейцарские часы: письма не пропадали, телеграммы доставлялись в любой час дня и ночи. Попутно приходили вовремя и бандероли с посылками. Большой Брат безостановочно следил за движением слов и спрятанных в них мыслей на шестой части земной суши — от провонявших тюленьим жиром чукчей на востоке до осыпанных бисером гуцулов на западе. Меж ними помещались носители загадочной славянской души, включая присмиривших татар. Ну и конечно, беспокойное еврейское отродье, беревшее рубиновые уголья в дремлющем костре свободомыслия.

За доставку почты в «Самшитовую рошу» отвечало советское государство рабочих и крестьян, за ее раздачу адресатам — регистраторша Регина из красного уголка. Писем набиралось ежедневно несколько десятков: почтовые марки стоили гроши, граждане со всех концов страны исправно писали своим родственникам и знакомым, занесенным жуткой болезнью в Кавказские горы. К часу дня Регина заканчивала сортировку и, встряхнув своими медовыми волосами, приступала к раздаче: звонко выкрикала имена и из рук в руки передавала письмо получателю. К началу раздачи больные подтягивались на площадочку перед красным уголком и смирно толпились, как будто регистраторша намеревалась раздавать здесь не письма, а праздничные булочки с орехами и изюмом.

Подошел и Влад и стоял в сторонке, усмиряя нетерпение и гадая: пришло что-нибудь или нет? Медоволодая Регина выкликнула: «Гордин!» Влад торопливо протиснулся, протягивая руку. Получив конверт, он пошел, взглянув на обратный адрес, прочь от корпуса, в парк, и там, на заброшенной лавочке, распечатал письмо. Писала ему из Москвы почти уже позабытая Таня с «Войковской». «Ты негодай!!! — писала эта Таня, помещая вслед за обидным словом три восклицательных знака. — Теперь я точно знаю, зачем ты уехал на Кавказ и бросил меня здесь, на “Войковской”. Ты захотел избавиться от меня, а ведь обещал жениться. И вот теперь прикинулся большим и был таков». Это «был таков» стукнуло Владу Гордина как дубинкой по голове — сильнее, чем само чудовищное обвинение неизлечимо и, возможно, смертельно больного человека в притворстве и симулянтстве. «Был таков» — только окололитературная Таня могла такое придумать! Каков же этот «таков», интересно знать? И кто сказал этой идиотке Тане, что он, Влад, собирается на ней жениться? В жизни ничего подобного не было никогда! Хорошее отношение еще не повод для женитьбы, особенно теперь, когда все изменилось за один день. Да кто она вообще такая, эта Таня

Но письмо укололо, с нажимом вошло в душу как ядовитый шип. Несправедливость подозрения травмила и жгла, и горькая судьба Тани была тут совершенно ни при чем. Раз Таня так подумала, значит, и другие, может быть, того же о нем, Владе Гордине, мнения. Ничего себе! Тут человеческая жизнь, можно сказать, висит на нитке в этой проклятой туберкулезной мышеловке, а из-за забора, из Москвы, весь этот ужас и кошмар кажется хитрой выдумкой. И кому это в голову пришло, кто болтает грязным языком?! Женщина, месяц или два просыпавшаяся рядом с ним, Владом, на одной подушке! И вот теперь она предала его, просто взяла и предала... И сторбившемся на замшелой лавочке с письмом в руке Владу Гордину зеленая Самшитовая роща уже не казалась такой красивой и почти родной, а существование в женском корпусе в одной комнате с туберкулезным

кашляющим кубинцем — хоть и опаснейшим, но приключением жизни.

Перетягивал и перевешивал в грянувшем происшествии не заголившийся вновь, в который уже раз, страх перед смертью, а обида на Таню, на эту Таньку с «Войковской». Теперь, после получения письма, можно раз и навсегда выкинуть ее из головы, забыть, как будто эта вредная околелитературная дура никогда с ним и не встречалась. «Прикинулся больным!» А то без всякой болезни он бы все равно не бросил ее через месяц-другой, тем более она уже начала ему надоедать с этими ее семейными претензиями: почему не вынес мусор? почему выпил? Валя Чижова, хоть она про Кафку даже краем уха не слыхивала, рядом с Таней просто святая! Святая простота. И если удастся выбраться из этого самшитового гадючника, надо будет и в Москве из виду ее не терять. А то — Таня с ее разноцветными зенками: один карий, другой бутылочный! Тоже мне, Нефертити. Вон, врачиха, Старостина Галина Викторовна, Галя, вчера в процедурной как постреливала туда-сюда из-под очков!

Нет, не зря постреливала Галя, не просто так: не муха ей в глаз залетела. Влад знал эти бархатные взгляды женщин — от них сердце начинало сбиваться с ровного шага, а кровь наполнялась сладостью и светом. И тогда валом прилиvalo желание, выбивая скрепы верности, вытесняя доводы разума и правила приличия.

Поглядывая на Влада Гордина в белом интерьере процедурной, Галя Старостина тем самым бросала вызов всемирной несправедливости — так, во всяком случае, она желала представлять себе происходящее с ней. Почему это, по какому такому велению ее душе запрещено увлекаться каким-нибудь Ивановым или хоть Коганом, даже если он и туберкулезный больной! Кого это должно касаться, кроме нее самой! И вот вам, пожалуйста: врачам нельзя, а больным, получается, все можно. Хорошенькая справедливость! Эта Чижова из четырнадцатой палаты с ее дурацкими пуговицами вместо глаз просто не отлипает от Гордина, такого задумчивого, серьезного парня, московского журналиста. И если она, Галя,

вмешается и это будет замечено, ее могут без разговоров уволить с работы: больные должны быть с больными, врачи с врачами, санитары с санитарками. Да это просто касты, позор, прямо как в какой-то Индии! А она обязательно вмешается, потому что держаться в стороне от такого безобразия — это тоже позор и оскорбление. И потом пускай выгоняют, все равно с осени освобождается место ординатора в Пятигорске, в туберкулезной больнице, и ее обещают принять.

Самшитовая роща надоела Гале Старостиной. Она после низовой ситцевой России никак не могла привыкнуть к бархатной роскоши горного Кавказа. Красота дикого пейзажа предвзято казалась ей богатством городского музея, в который она не прочь была заглянуть, но ни при каких обстоятельствах не готова была там поселиться. Да и не в предвзятости коренилось все дело, а в том, что после окончания школы выбор медицинского института оказался случайным, если не ошибочным: Галя с большим успехом могла пойти в электрические инженеры или в провинциальные актрисы. В конце концов она выучила медицину, а не изучила ее; образ Гиппократов со свитком в руке ничуть ее не увлекал и не завораживал.

Свою жизнь санаторного врача в туберкулезной «Самшитовой роще» Галя Старостина наблюдала как бы со стороны, с ужасом: лучшие годы ее жизни уходили прочь и не подлежали восстановлению. Вот уже и «гусиные лапки» появились на лице, а недолгий ухажер — приглашенный в январе на консультацию ростовский невропатолог, кандидат наук Ашот, — тот, поднявшись с кровати, вообще заявил ужасное: «Ты на себя, Галка, погляди в зеркало! Годика через два у тебя крестец жиром затянет, это факт. Ты не обижайся, я тебе как друг говорю и как медик». Накаркал — и уехал к себе в Ростов, и ни слуха от него, ни духа.

Санаторные врачи жили врассыпную по всей территории Рощи — семейные в пристройках к хозяйственному корпусу, одинокие в глубине парка, в халупе, неформально именуемой «коттедж» и разделенной на три од-

нокомнатные квартирнки. Кухня там была одна на всех, зато санитарные удобства отводились каждому жильцу персональные, а двери комнатшек выходили прямо на волю, в мир, на парковую тропинку. И можно было входить в жилище и выходить из него, не сталкиваясь с соседями нос к носу.

Убранство квартиры Гали Старостиной ничем не отличалось от соседских: раскладной диван-кровать, фанерный шкафчик для одежды, две книжные полки, дачный столик и стул к нему. На столе кружевная салфетка и вазочка с конфетами «Раковая шейка», на полках книги по медицине и собрание сочинений писателя Джека Лондона. У кровати голубая фанерная тумбочка — такая точно, как в палатах больничных корпусов. На тумбочке чернел приземистый телефонный аппарат внутренней связи — врача во всякое время суток могли вызвать в корпус, или к главврачу, или хоть в партийное бюро.

Сюда, к себе, доктор Старостина решила пригласить больного Гордина.

— Тысячелетия тому назад молодое хищное человечество предпочло бесконечные войны сотрудничеству и мирным разговорам за чашкой кофе и рюмкой коньяка. Это была самая большая глупость, до которой додумались люди. — Припечатав ладонью к столу листочек с конспектом, Сергей Игнатьев сделал паузу и оглядел красный уголок, мельком улыбаясь знакомым лицам.

В тесную комнату, на лекцию с жизнеутверждающим названием «История сегодня. Марксистский взгляд», санкционированную санаторным начальством, набилось человек сорок. В заднем ряду, поближе к двери, сидела медоволосая Регина — она отперла, ей предстояло и запереть служебное помещение после лекции. Сидеть было скучно, историю Регина не любила, зато любила географию и в школе по этому предмету была крутой отличницей. Был здесь и старательный Миша Лобов, отметивший присутствующих тублиеров — и Быковского, и Гордина Влада, и Эмму с синеглазой Валею Чижовой — и

конспектировавший в записной книжке по мере силенок марксистское сообщение ганзейца Игнатьева. Практики конспектирования он не наработал — случай не подворачивался, поэтому запись получалась довольно-таки корявая. Для отчета, однако, достаточно и этого: кто был, что говорил — все ясно!

— Рыцарские ордена крестоносцев, — продолжал, помолчав, Сергей Игнатьев — слушатели тем временем угомонились и, сидя тесно друг к другу, притихли на своих местах, — в том числе и храмовники-тамплиеры, ничем, в общих чертах, не отличались один от другого. Встав на защиту христианских святынь на родине Иисуса Христа, крестоносцы принялись грабить и уничтожать местное население — евреев и арабов.

— Не было никакого Иисуса Христа, — подал голос с места профсоюзник с наполеоновской прической из города Сызрань по прозвищу Пузырь. — Это доказано наукой.

— Ну, это вопрос веры, — элегантно парировал выпад Пузыря ганзеец. — Вы, скажем, не верите, а патриарх всея Руси верит.

— Потому что он не член партии, — стоял на своем профсоюзный Пузырь.

— Наш советский народ — это блок коммунистов и беспартийных, — кисло сообщил Сергей Игнатьев. — Верить в победу коммунизма — одно, верить в Иисуса Христа — другое.

На это Пузырь не нашел что возразить и промолчал. А Игнатьев продолжал:

— Наиболее предприимчивыми среди рыцарей оказались храмовники — то ли воинствующие монахи, то ли монашествующие воины. Успешно сочетая Слово Божье с коммерцией, орден богател и набирался силы и могущества. Что-то они там такое откопали, нашли на Святой земле, и, хотя целое тысячелетие отделяло их от эпохи Христа, находка имела прямое отношение к Иисусу. — Игнатьев с опаской взглянул на Пузыря, но тот сидел смирно. — Есть основания предполагать, что тамплиеры наткнулись под развалинами Второго еврейского

храма не на винный кубок, не на римское копье и не на высушенную голову Иоанна Предтечи, а на предмет неизмеримо более ценный: на Евангелие от Иисуса из Назарета, содержащее собственноручное жизнеописание автора, его основополагающие взгляды и духовное завещание последователям и потомкам.

В дверь комнаты заглянула, а потом и вошла доктор Галя Старостина. Регистраторша Регина обернулась к ней со своего заднего ряда.

— Что тут у вас? — наклонившись к Регине, шепотом спросила Галя Старостина. — Лекция?

— Про Иисуса Христа, — шепнула в ответ медоволодая Регина. — Скучновато...

Галя, не присаживаясь, взглянула на ганзейца Игнатьева за лекторским столом, а потом обежала взглядом зал. Влад Гордин сидел близко к лектору, слушал увлеченно, как бы отгородившись от мира, — так, закрыв глаза, слушают чтение стихов в узком кругу или трудную музыку в зале консерватории. На Валю Чижову, примостившуюся рядом, Влад не обращал никакого внимания, как будто то было пустое место в пространстве, — и Галя отметила это с радостью души. Валя слушала ганзейца покорно, как будто не про Иисуса из Назарета он рассказывал, а про приготовление горохового супа. На миг Галя представила себя на месте этой заторможенной дуры — она бы не сидела тут как куль с мукой. Она бы светилась, реагировала... Так и не присев, Галя Старостина тихонько повернулась и вышла из красного уголка.

А Влад слушал, не пропуская ни слова, и это было похоже на продолжение его сна: рыбацкая деревенька на берегу Галилейского моря, Иисус, евреи, спор над сомом из рассветного улова.

— Какое-то время своей жизни, — продолжал Игнатьев, — Иисус провел среди религиозных аскетов в поселении Кумран на Мертвом море — неподалеку от того места, где впадает в него река Иордан.

Влад Гордин прикрыл глаза ладонью, и слушал, и видел картины удивительные.

Второй сон Влада Гордина

...Иешуа, хоть родом происходил из Назарета Галилейского, из края холмов, слыл человеком вод. Окружавшие Назарет холмы были ему не в диковину и не вызывали в нем неиссякаемой радости открытия: он с детства к ним привык. Гладь пустыни, с которой он познакомился позже, напоминала гладь вод, умерших в одночасье; пустыня была мертва, она отвергала радужную влажную жизнь и была, скорее, суровым наказанием для неразумных детей Адамовых, чем наградой. Поэтому туда, в пустыню, отправляются совестливые, бегущие от греха — среди песка и острых камней даже грех не гнездится: чисто.

В холмах Галилеи, поросших лесом, летали птицы небесные и жил зверь. Будто сваленные в кучу, горы и отроги холмов загромождали горизонт и закрывали его от огляда, препятствуя и ограничивая кругозор человека, склонного к раздумью. Горы были тесны земле, тесны душе Иешуа.

Не то пространства вод, открытые до конечного предела. Мысль, подобно Слову, беспрепятственно скользит над волнами, и ничто не тяготит взгляд и не мешает ему проникать в сущное и вешное. Нет здесь суеты земной и быстротечности событий, и рыбы ходят в глубинах. А рыболовы, в отличие от охотников на зверя, ячеями своих сетей подстерегают Невидимое в толще вод.

Таково сладкое Галилейское море — розовое по утрам, молочное и розовое, открыто лежащее среди холмов. Витой шнурок Иордана тянется от него вниз, к морю Соленому. Это до горечи соленое море, убивающее заплывших в него иорданских рыб и выбрасывающее их на берег, греки зовут Асфальтовым, а есть и такие, кто, не забывая старины, называют его морем Лота. Вот это напрасно, Лот этого не заслужил: не смог направить домочадцев по верному пути и жена его, вопреки строгому запрету, обернулась в плохой момент, а о распутных дочерях нечего и говорить. Весь этот край, рассказывают, был таким — до того дня, когда Отец Небесный не ис-

пепелил взглядом Содом и Гоморру. После этого редкие здесь жители присмирели и взялись за ум и жизнь размеренно поплелась по чахлым берегам и коричневым скалам Скорпионова нагорья, откуда хорошо видны горы Моава по ту сторону Соленого моря. Те самые горы, у подножья которых пастухи приняли за дикого вепря продавившегося сквозь заросли сухого тростника Каина — и порвали его.

Иешуа с почтением относился к Соленому морю, этому синему продолжению пустыни, спустившейся с бесплодных гор к шелковистой воде. Сидя на раскаленном солнцем прибрежном валуне, в колодезной тиши, можно было без усталости следить за бегом бесчисленных тысяч мелких волн моря. Возникая из Ничего, они, как солдаты римской когорты, бежали в затылок друг другу и исчезали в мареве горизонта, погружались в Ничто. Глядя на волны моря в синих рубашках, в одинаковых белых шапочках, Иешуа освобождался от тяжелой привязи к ползущему душному времени, и ему становилось легко, воздушно.

Стойкое каменное тепло валуна перетекало в тело сидящего, и человек чувствовал себя продолжением камня. Обращенный лицом к воде, уложив на колени сильные руки ремесленника, Иешуа был неподвижен как камень, на котором сидел, и только чуткий острый слух выхватывал из тишины и воспроизводил перед ним картины того, что происходило за его спиной.

Вот что там происходило: шел человек по каменистой пустыне, шел, спрямляя путь, от излучины реки Иордан к берегу Соленого моря, к Кумрану, к скалам которого лепилось поселение аскетов, ставивших духовное начало высоко над плотскими слабостями. Но и они, случалось, петляли на своих путях к Высокому, они разрешали себе поблажку — им было далеко до Спрямявшего, отличавшегося совершенной непреклонностью, свойственной в нашем мире лишь свету да тьме.

Пешеход звался Иохананом, по прозвищу Аматбиль — Окунатель.

— Креститель — это пришло к нему позже, лет через триста, — продолжал Сергей Игнатьев, — а в его времена крест не стал еще святым символом в глазах верующих, а оставался лишь орудием римской казни. До появления Евангелий его никто не звал Иоанном Предтечей — он был Иоханан Амадебиль, окунавший своих приверженцев в проточную воду. Омовение, символически смывавшее с них грязь грехов, побуждало прошедших обряд к обновленной, чистой жизни. Среди них был и родственник Иоханана Окунателя по материнской линии галилеянин Иешуа, который спустя век-полтора станет известен миру под греческим именем Иисус Христос.

Услышав шаги и трудное дыхание Иоханана, Иешуа повернулся на валуне и взгляделся, шурясь: после синей глади моря рыжие камни пустыни и выжженный солнцем песок требовали изрядного, почти до слез напряжения глаз. Иоханан подходил, горячий ветер трепал подол его коричневой шерстяной рубахи. Буйные волосы, не знавшие управы, бились за спиною пешехода. Обветренное и загоревшее дотемна тело отшельника проглядывало в прорехи ветхой одежды.

— Мир тебе, Иешуа! — подойдя, сказал Амадебиль.

— Также и тебе мира и равновесия души, — откликнулся Иешуа, глядя с приятною на оборванца пустыни.

— Нет и нет, — присаживаясь на камень рядом с Иешуа, сказал Иоханан, — хотя спасибо тебе от всего сердца за доброе пожелание. Как можно в мире порока и грязи бороться с грехами струею воды — и одержать победу над злом, и успокоиться и утомониться? Ну как?!

Иоханан ждал ответа и получил его.

— Вода — для подавших надежду, — пояснил Иешуа. — Но следует обращаться и к мечу по мере необходимости. Римляне приходят к тебе? Солдаты?

— Нет, конечно, — ответил Иоханан. — Только наши евреи. Но немногие, ох, немногие ищут пути к очищению.

— Вот видишь! — сказал Иешуа. — Значит, римляне прокляты и безнадежны. Они сеют в храме языческую

скверну, и их ждет судьба эллинов во времена Маккавеев. Римляне обречены мечу, а не исцелению.

Они помолчали, думая об одном. Потом Иоханан снова заговорил.

— Ох и ох, Иешуа! — говорил и приговаривал Иоханан. — Выгнать проклятых римлян — что может быть главней и важней! Но ты и сам знаешь, наша жестоковыйность не дает нам собраться всем вместе в чистоте и ударить сообща по язычникам: каждый разглагольствует всеу, и мешает найти общий язык, и тянет в свою сторону. И даже лучшие из хороших иногда уподобляются шакалам и ехиднам.

— Прежде, чем язычников, — сказал Иешуа, и вздохнул, и поглядел на море с тоскою, — мы должны победить самих себя.

— Ах и ох, — распаляясь все более, говорил и приговаривал Иоханан, — от водоноса у Мусорных ворот до царя Антипы во дворце — весь народ охвачен безумием алчности и разврата! И даже эти... — Амадебиль, не оборачивая лица, кивнул на каменные домишки кумранитов.

— Нас с тобой многие тоже называют безумцами, — сказал Иешуа, и то ли улыбка, то ли тень сомнения пробежала по его губам, — а ведь это не так. Просто люди горячатся и ошибаются, и сейчас такое время, что никто не остается в тени.

— Даже эти! — упрямо повторил Иоханан, на этот раз указывая рукой на строения Кумрана. — Они думают, что, истязая плоть, приближаются к Истине.

— О чем ты? — спросил Иешуа.

— Ох и ах, Иешуа! — говорил и приговаривал Иоханан. — О чем! Да о том! Чтоб не осквернять субботу, они сдерживают естественные устремления утробы до исхода святого дня, до первой послесубботней звезды! Ой-вавой всем нам!

— Зловоние и смрад такая же часть субботы, — неодобрительно покачал головой, заметил Иешуа, — как и всякого другого дня недели, месяца и года. Поэтому нечего подвергать себя пустому воздержанию и мучиться. Суббота для человека, а не человек для субботы.

— Ты сказал! — воскликнул Иоханан Амадебиль. — Так как ты живешь среди них?

— Я уйду, — ответил Иешуа. — Сегодня. Их двести, и вместе с множеством мне не удастся исправить кривое и прояснить замутненное. А одному — удастся, если Отец Небесный не оставит меня.

— А это, — с любопытством глядя на свиток в руке Иешуа, спросил Иоханан, — что?

— Так, заметки... — сказал Иешуа, убирая свиток за пазуху. — Записки...

— Твои? — с оттенком недоверия спросил Иоханан.

— Мои, — отозвался Иешуа. — А больше у меня ничего и нет. Неимушим я пришел сюда и уйду неимушим.

— Глас вопиющего в пустыне громче букв на египетском папирусе, — пробормотал Амадебиль и тряхнул головой, и грива волос взметнулась и вздыбилась за спиной отшельника.

— Вот эти-то записки, — закончил Сергей Игнатъев и листок с конспектом, сложив, опустил в карман, — и нашли тамплиеры в запечатанной пещере в Гефсиманской роще. Эти записки содержали отважные идеи, опережавшие свое время. Они послужили возвышению ордена, а затем и катастрофическому его сокрушению.

Публика загомонила, подымаясь со скамей. Закончил свою добровольно-осведомительную работу, и захлопнул записную книжицу Миша Лобов, и пластмассовый колпачок аккуратно навинтил на китайскую самописку.

13

«Черт бы их всех побрал!» — собирая служебный чемоданчик, повторял про себя Николай Шумяков, полковник государственной безопасности. В чемоданчике накатанно умещались смена нижнего белья, бутылка армянского коньяка «четыре звездочки», домашние шлепанцы, синий треник с надписью «СССР» на спине, упаковка геморроидальных свечей, жареная курица в газете, оде-

колон для бритвы «Светлый май» и книга писателя Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Все...

— Коля, свечи не забудь! — прилетел из кухни прокуренный голос жены, и полковник поморщился, как от кислого.

— Черт бы вас всех побрал! — захлопывая крышку и зашелкивая замочки, пробормотал Шумяков — жена не допускалась до укладывания служебного чемоданчика, в этом деле полковник управлялся сам. Казалось бы, чемодан — что в этом такого? Но укладка служебного чемоданчика перед отъездом в командировку давным-давно превратилась для Шумякова в ритуал почти сакральный. И этот обшарпанный фибerglassовый ящик с никелированными нащелпками по углам стал важной составной частью засекреченной жизни полковника, так же как кожаная «корочка» офицера КГБ, партбилет или восьмизарядный табельный пистолет системы Макарова девятого калибра. Почти так же.

Поезд «Москва — Грозный» уходил вечером, от Грозного до Эпчика на машине добираться полдня. Ну и от Эпчика до этой самой Самшитовой роши ехать часа два-три. Само собой разумеется, что ни в Эпчик, ни тем более в Рошу самолеты не летали: там аэродромы еще не построили. Можно было лететь в тот же Грозный или до Орджоникидзе, а там пересаживаться на машину и трястись по горным дорогам до самого места, но полковник Шумяков испытывал чисто русскую привязанность к поездкам дальнего следования с их размеренным купейным бытом, с их преферансом и, вперемежку с рюмками, чаем из стаканов с подстаканниками. Поезд едет, служба идет. И выигрыш нескольких часов служебного времени в беспокойных полетах-перелетах полковника никак не манил и не привлекал. Успеется...

Тем более не спешил Шумяков очутиться в Самшитовой роше — туберкулезном гнезде, где заразу подцепить как два пальца облить. Туда ни за орден, ни за что другое соваться не стоит. Штаб операции можно развернуть в райотделе в Эпчике — хотя и в городишко с таким имечком ни один нормальный человек по собственно-

му желанию не поедет. Давно пора всем этим Епчикам с Гоцатлями присвоить культурные современные имена: можно Солнечногорск, можно Высокогорск или же Крутогорск. А то ведь от этих непонятных названий так и разит местным буржуазным национализмом, вредный смысл в них заложен — и это уже не говоря о том, что, выговаривая дикие слова, язык сломаешь в два счета.

«День отъезда — день приезда» в отчете по командировке считаются за один день. Но если сорок восемь часов считать за двадцать четыре, то длина недели или месяца, а тем более года от этого не изменится ни на минуту. Это какой-то умник придумал такую белиберду для сокращения командировочных расходов... Так или иначе, с сегодняшнего дня полковник Шумяков считался выбывшим в служебную командировку на Северный Кавказ.

Оставшееся до отхода поезда время Шумяков решил потратить с пользой: распрощавшись с женой, он прихватил свой чемоданчик и отправился в Столешников переулочек, в пивной бар «Яма». Сбитые тысячами и тысячами ног мраморные белые ступени вели в при-темненный прохладный полуподвал. Эти стоптанные, с голубыми прожилками ступени навевали почему-то благородную мысль о римской бане для вольнолюбивого племса: вот сейчас откроется взору обширный зал, набитый кайфующими гражданами, у каждого в одной руке люфа, а в другой — шайка. В питейном зале пивной, пропахшей благородным напитком и сырыми опилками, теснилось действительно не менее сотни посетителей. Они по-братски тесно, плечом к плечу, сидели за длинными столами, уставленными тяжелыми пивными кружками, подходящими также и для того, чтобы съездить соседу по башке, и шербатыми тарелочками с мелкими, размером с таракана, коралловыми креветками, осклизлыми на ощупь и загадочными на вкус. Рубленый гул всеобщего разговора висел под низким сводчатым потолком зала.

Найти свободное местечко было непросто. Наконец Шумяков втиснулся со своим чемоданчиком между дву-

мя мужиками, преданно припавшими к кружкам. Опытный Шумяков сразу понял, что мужикам нездоровится после вчерашнего, и вот теперь, на его глазах, нездоровье уходит от них, и они с каждым глотком возвращаются чудесным образом к созидательной жизни. Шумякову хорошо было ощущать себя сопричастным к замечательному чуду.

Один из мужиков допил пиво из кружки, придвинул к себе вторую и уставился на Шумякова понимающим взглядом. Подступило время сердечных разговоров.

— Между прочим, — начал мужик и мокрыми губами пришлепнул, — вот это вот всем помогает, — и ладонями кружку приобнял. — Вон народу сколько приперло! Народ-то не дурак.

— Не дурак, — охотно согласился Шумяков. — Только придуруется.

— Ну да, — кивнул мужик. — Придуруется, потому что ему простор нужен. — Он был настроен на философский лад. — А где его взять-то?

— А на кой ему простор? — привычно поинтересовался Шумяков.

— А ты у любого спроси! — с большим убеждением сказал мужик и битком набитый зал обвел свободною левой рукою. — Без простора у русского человека душа лопается.

— С перепою у человека что хочешь лопнет, — насмешливо шурясь, сказал сидевший над своим пивом по другую сторону стола худощавый человек с черным чубчиком, небрежно брошенным на лоб. — У тебя, батя, есть простор? А? Где он?

— У меня лично нету, — беспечально признал мужик. — Я сам в коммуналке живу, у меня весь простор — коридор.

— А если бы у тебя вместо коридора река Волга текла, — весело глядя, сказал Чубчик, — ты что, в Стеньку Разина, что ли, превратился б на просторе? Шемаханскую царевну утопил — девушку-красавицу?

Вопросы были непростые, и мужик старательно наморщил сильный лоб.

— Я не про себя говорю, а про народ! — уклончиво ответил мужик и оглядел полный зал, остановив взгляд на ближайших соседях, сидевших с ним плечом к плечу, — на плечистом дядьке, со знанием дела разбиравшемся с криветками, и на Шумякове, слушавшем внимательно, но без интереса.

— Тогда, значит, ты есть народный дурак! — постановил Чубчик.

Услышав такое, мужик потянулся к порожней кружке, прикидывая, как сподручней достать обидчика по роже.

— Поставь кружку, — внятно посоветовал плечистый сосед. — Это же знаменитый писатель, тебе за него пятнадцать суток припают. Писатель Некрасов, он сюда часто ходит. Лауреат Сталинской премии.

— А так и не угадаешь... — промямлил народный дурак и кружку опустил на стол.

Шумяков взглянул через стол на писателя, а потом глаза обманчиво навел на пивную пену в кружке перед собой. События приобретали неожиданный оборот. Увлеченно вслушивался в застольную беседу не только командированный на Кавказ лубянский полковник, но и приятель Некрасова, сидевший с ним бок о бок, — молодой человек в латышском студенческом корпоративном картузе с лакированным козырьком, с ясными глазами табачного цвета и нежным обводом подбородка. Этот молодой человек не был похож на латыша, да и к славянскому племени едва ли можно было его причислить. Пропуская татар и моржовые народы Крайнего Севера, оставалось предположить принадлежность ясноглазого юноши к еврейскому нацменьшинству.

— Ты, Вика, в точку попал, — сказал предполагаемый юноша. — Он красавицу угробит. Ты на него только погляди! — Как видно, юноша хотел скандала.

— А вы, молодой человек, — вступился Шумяков за подозреваемого в грядущем убийстве народного дурака, — лучше бы кепку сняли — тут вам все же не синагога.

Реплика проницательного полковника свидетельствовала о том, что он в еврейских делах не профан и национальный вопрос ему не чужой.

— А что тут — церковь, что ли? — не помедлил с реакцией писатель. — Ты, дядя, хоть горшок на голову надень, тебе никто слова не скажет. А, Моня? — И обернулся, как бы за поддержкой, к своему молодому товарищу.

При неприятном слове «Моня» полковник Шумяков слегка поморщился, а народный дурак не проронил ни звука, налег грудью на стол и, запрокинув голову, влил в себя полкружки, испытующе глядя на мир поверх мутного ободка. Разговор завязывался интересный.

Нельзя сказать, что у Шумякова потеплело на душе от этого панибратского обращения — «дядя», не говоря уже о дерзком предложении напаять на голову горшок. Оперативная выдержка, однако, взяла верх над чувствами, и он промолчал. Произведений знаменитого писателя Шумяков не читал, но имя его слышал от сослуживцев, и характеристики коллег-офицеров оставляли желать лучшего: в Большом доме Некрасов числился в ряду антисоветчиков и очернителей социалистической действительности. Но в пивную полковник явился для того, чтобы приятно провести время, и забивать голову служебными обстоятельствами не собирался — тем более что писатели проходили на Лубянке по другому управлению. Служебный кабинет — одно, пивной бар — совсем другое. Для облегчения и ясности жизни Шумяков предпочитал отделять зерна от плевел.

— Креветка против нашего рака — тьфу! — неодобрительно косясь на тарелку с розовыми скрюченными зверушками, сообщил народный дурак. — Или под пиво та же вобла...

— Лещ! — со всей решительностью возразил юный Моня. — Ребята из Ростова приезжали, привозили. Вялый лещ, я вам точно говорю! Сказка, сладкий сон секретаря обкома!

— А я за воблу, — утвердил свою позицию Шумяков. — Постучишь ее об стол получше, шкурку снимешь, перышки оборвешь, разберешь по хребту — и на здоровье!

Беседа, приняв гастрономическое направление, перетекла в мирное русло. Собеседники, чем спорить, безвозмездно делились друг с другом практическим опытом

жизни; получалось так, что родимая вобла все-таки лучше и раков, и обкомовского леща, и тем более чуждых креветок.

— Я такого леща тоже пробовал, — как о скрытном, поведал Плечистый, — сразу после войны. Чего тут говорить! Лучше не бывает, какие там раки... Раньше, говорят, всю Россию этими лещами заваливали. — Когда «раньше», Плечистый не уточнил, но и так было ясно, что речь идет об отдаленном прошлом.

— Так то при Николашке Кровавом, — охотно дал справку знаменитый писатель. — А теперь они все перевелись, лещи, только в обкоме пасутся, по пропускам.

Шумяков пригорюнился и помрачнел: верно говорят коллеги — никакой не советский у нас народ, а антисоветский! Леща им не хватает! Хорошо еще, что не сказал этот лауреат: по партбилетам они там пасутся, в ростовском обкоме. Антисоветчики! И главное, всех ведь не пересажаешь. Полковник Шумяков был твердо и небеспочвенно уверен в том, что родной его народ строго подразделен на три части: половину составлял контрреволюционный элемент, четверть — добровольные помощники органов, а вторая четверть состояла сплошь из алкоголиков, у которых язык без костей.

— О хорошем надо забыть, и все, — заключил свое приятное воспоминание Плечистый. — Чтоб потом не мучиться — все равно по новой ничего обратно не произойдет.

Тут все помолчали, уверенные в том, что явление в пивной «Яма» ростовского леща взамен осклизлых креветок дело совершенно невозможное. Только юный Моня в корпоративном картузе держался, похоже, иной точки зрения: он не успел еще растерять надежды на чудо и розовый накал, свойственный молодым людям его древнего племени, согревал его душу.

— Ну-ну, — покачал головой писатель Некрасов и поглядел на Плечистого с новым интересом. — Земля-то, однако, вертится, все возвращается на круги своя...

— Раньше, может, вертелась, — не отступил Плечистый, — а теперь ни шиша не вертится: не то время.

От такого заявления и Галилей перевернулся бы в своей могиле, да и собеседники Плечистого, включая писателя, сильно удивились. А может, и вправду не вертится? Пока не объявили, что — да, вертится безостановочно, никто об этом и не догадывался, и народ жил-поживал без всякого представления. Что там говорить! Скептики, несмотря на огромные успехи в социалистическом строительстве, еще не перевелись на земле, и всякий нормальный человек в глубине души сомневается, что земля под его ногами куда-то едет.

— Ну да ладно, — сказал писатель, — тут дело не в том. А в том дело, что мы сейчас сидим и пьем пиво, а что было раньше, никто не знает. Раньше — это когда? Сто лет назад? Пятьсот? Время-то никак не измеришь — ни метрами, ни литрами. Часами, что ли, «Победа» за семнадцать рублей? Стрелками?

— Это лучше всего, — предположил народный дурак.

— Стрелки ко времени подходят как к корове седло, потому что времени вообще — нет! Не существует! Это нам только кажется... Моня, — живо оборотился хмельной писатель к своему молодому товарищу, — только ты меня отсюда к Лильке не вези, Богом тебя прошу! Она ж меня заест!

— Бога нет, — счел нужным встрять полковник. — Это доказано наукой.

— А если я в науку не верю, — спросил писатель, — и во всеобщую справедливость не верю? Остается только в Бога верить. Правда же, дядя?

Полковник Шумяков к такому провокационному вопросу не был готов, а писатель продолжал наседавать:

— Мамка твоя — верила? А батя?

— Ну, верили, — неохотно признал Шумяков. — Так они были темные и жили в другую эпоху.

— Не дурей тебя они были, — дерзко постановил лауреат. — Эпохи-то меняются, а Бог остается.

— Бога лучше не трогать, — строго предупредил народный дурак. — Чего его трогать? Мешает он, что ли, кому?

По обе стороны стола люди над кружками, каждый по-своему, задумались над предупреждением народного дурака, а писатель заметил:

— Глас народа — глас Божий. Хоть изредка. Хоть пусть будет даже за пивом. — И приглашающе поднял свою кружку.

14

Влад Гордин явился к доктору Старостиной Галине Викторовне вовремя; над Галиной дверью желтел фонарь, в его жидком чайном свете роилась ночная крылатая нечисть. В темноте под ветром пощелкивали ветки, ударяясь друг о друга, и парк был пуст, словно бы его дорожки вымели метлой к празднику.

Влад шел к Гале, не заглядывая вперед и не шурясь: как получится, так и выйдет. А может, и не получится ничего. Но зачем тогда вызвала? Воздушно стуча костяшкой согнутого пальца в дверь, Влад и думать не думал о Вале Чижовой, как будто она существовала в соседнем измерении: Валя — Валя, а Галя — Галя. Валя — чешка, своя, а Галя совсем из другого круга, они и говорят на разных языках, там только буквы одинаковые. Да и сам Влад, хоть он знает наизусть Манделъштама и Гумилева, в этом домишке на окраине парка — залетная птица, чужак, наподобие рядового солдата в офицерском клубе с буфетом и бильярдом. Влад — больной, Галя — врач, и между ними стена покруче Китайской. То, что их случайно, шальным ветром потянуло друг к другу, ничего не стоит и ничуть их не уравнивает. Так что Вале Чижовой не о чем беспокоиться, как если б посреди Самшитовой роши вдруг сел НЛЮ, из него вышла клевейшая инопланетянка и пригласила Влада Гордина на рюмку чая в свою тарелку... Вот если б у Гали Старостиной открылась каверна и она сверзилась со своих начальственных небес на землю, в женский корпус, соседкой к Вале Чижовой, тогда у Вали появился бы повод для беспокойства. Но и тогда все бы мирно обошлось: чехи своих наступатель-

ных порывов не сдерживают, это факт, и этика туберкулезных заведений допускает многое, очень многое; Роша и не такое видела.

— Кто там? — донеслось из-за двери, хотя хозяйка прекрасно знала, кто это пришел и стучит. — Войдите!

Влад Гордин переступил низкий порожек и вошел, и Галя поднялась ему навстречу из-за стола, на котором, как сруб на поляне, аккуратной стопкой сложены были канцелярские папки с историями болезней.

— Я вот тут про вас читаю, читаю... — Галя опустила ладонь на стопку папок. — И даже не за что зацепиться: анализы, заключения, как в учебнике. И все... Чаю? Покрепче?

— Спасибо, — сказал Влад. — Покрепче. А у меня в такой тумбочке тоже «покрепче»: коньячок. Армянский.

Галя улыбнулась безмятежно, как будто не лечащий врач узнал о грубом нарушении санаторного режима, а смешливая девчонка в очереди за газировкой. Галя улыбнулась, и лицо ее под пеньковыми прядками волос похорошело.

— Я про вас ничего не знаю, — сказала Галя, — кроме того, что вы журналист. Так же нельзя! Чтоб лечить ТБЦ, надо знать своего больного просто наизусть.

— Наизусть? — переспросил Влад Гордин. — «Я помню чудное мгновенье, Передо мной явилась ты»?

— Ну... — смутилась Галя Старостина и покраснела. — Можно сказать и так.

— «Как мимолетное виденье», — продолжал Влад и вдруг замолк, чуя своим молодым необклеванным носом, что рано, рано еще тащить сеть из воды, надо подождать, скатать лист времени в трубочку, поговорить, сказать прохладные простые слова о вещах простых, но далеко не прозрачных — и тогда горячее молчанье обрушится вот на этот самый диван, наступит через часок, а то и раньше. Жаркое молчанье двух горячих тел, сжатых и сбитых в одно, никакими силами не расторгимых — на то бесформенное время, какое не измерить ни зрением, ни прозрением, а только мертвыми стрелками часов. Тут надо действовать наверняка — или же с ду-

рацким видом сидеть перед врачом на краешке стула, чай тянуть из блюдца. И не переступить красную черту между отделением больных и отделением здоровых, и не заглядывать за нее.

Помалкивала и Галя, разливая чай в чашки.

— Я заразился в ссылке, — сказал, наконец, Влад Гордин. — Там туберкулезников было полным-полно. Туберкулезников и безносых.

Вопрос хозяйки был вполне предсказуем:

— Вы были в ссылке?

— При Сталине, — ответил Влад. — Выслали со всей семьей как ЧСИРов, по домово́й книге. Мне тогда как раз стукнуло четырнадцать, а дали десятку. И через три года выпустили, уже при Хрущеве.

Галя Старостина глядела выжидательно. Не каждый день встретишь в Самшитовой роще человека, мальчишкой получившего десять лет ссылки по политической статье, — не считая, конечно, местных чеченцев или ингушей, во время войны сосланных за плохое поведение бессрочно всем народом в отдаленные районы Сибири и Казахстана.

— Расскажите! — сочувственно попросила Галя.

Рассказ о живописной несвободе на фоне безлюдной и безводной казахстанской степи и лошадь растрогал бы до слез. То была история о существовании на краю голода, о повальном падеже от болезней — по улице кишлака слонялись без всякого дела прокаженные, беспрепятственно обитавшие почему-то в этом углу света, и безносые сифилитики с лицами, перечеркнутыми поперек узкими черными повязками. А туберкулез здесь считался чем-то обычным — состоянием здоровья, не выходящим из ряда вон. Постоянной работой были надежно обеспечены только кладбищенские могильщики да пятерка музыкантов похоронного оркестрика: кореец-кларнетист, русак-геликонщик, хохол-валторнист, грек-барабанщик да Влад Гордин, управлявшийся с музыкальными тарелками. Полная дружба народов. Через несколько лет ссыльных разгонят из этих краев, построят космодром и начнут пускать ракеты в космос.

— Бедный мальчик! — Поднявшись из-за стола, Галя подошла к Владу и бережно, кончиками пальцев погладила его по голове. Влад наклонил голову и прижал щекой ее ладонь к своему плечу. И руки протянул — тихонько обнять женщину, приблизить ее к себе. Галя не оттолкнула его, она шла к нему, как лодка к причалу. Бедный мальчик из похоронного оркестра!

Телефонный звонок грянул, словно в волшебной тишине сто проклятых скрипачей все разом обрушили смычки на струны сотни своих проклятых скрипок. Звонила дежурная сестра из корпуса: у кого-то там пошла кровь горлом, врач требовался срочно.

— Подожди меня, — сказала Галя уже от двери. — Я быстро! — Потом вернулась, поспешно поцеловала Владу в глаза и вышла. Тихонько, по-заговорщицки щелкнул язычок дверного замка.

А Влад Гордин, оставшись один, огляделся почти по-хозяйски. Джек Лондон на книжной полке — пухлые томики, читанные не раз. Отрывной календарь на стене, наполовину выданный: 5 июня, понедельник. Фотография в рамке — женщина средних лет с озабоченным строгим лицом, в шляпе, видимо, мама. Влад пересел на диван, попрыгал — жесткие квадратные подушки упруго пружинили, и это приоткрывало картину, от которой рывком спирало дух. Делать было нечего. Он развернул фантик «Раковой шейки» и сунул в рот сладкий камешек конфеты. На столе, рядом с вазочкой, верхней в стопке лежала папка с надписью: «ГОРДИН В. С. История болезни №143-А». Влад Гордин взял папку и открыл ее.

Справки, анализы и заключения не вызвали в нем любопытства. Рентгеновский снимок размером в две ладони он без интереса повертел перед глазами и вернул на место. Медицинский язык, как птичий щебет, ничего ему не говорил; да он и сам, ему казалось, знал все, что было необходимо знать о собственной беде. Последним документом в папке была страничка машинописного текста, подписанная каким-то профессором Пименовым, неведомым Владу.

В своем сообщении профессор Пименов уведомлял адресата о том, что больной Гордин Владислав Самойлович направляется в туберкулезный санаторий «Самшитовая роща» для подготовки к операции по поводу резекции верхней доли левого легкого.

Вернувшись домой через полчаса, Галя не застала Влада Гордина — комната была пуста. На столе, на письме Пименова, лежала записка от Влада: «Как же так, как Вы могли мне ничего не сказать! Я не хочу жить инвалидом и никогда, ни за что не соглашусь на операцию».

В корпус, в палату с негром, идти не хотелось. Ни к кому не хотелось идти Владу Гордину — ни обратно к Гале, ни к Семену, ни к ганзейцу Игнатьеву, ни даже к Вале Чижовой. Хорошо бы сесть за столик в чебуречной, заказать коньяку — и чтоб никого не было. Но в «стекляшке» сейчас туристов полно, у них заезд по понедельникам, они песни поют под гитару. Черт! Вот и получается, что, если человеку объявили смертный приговор и он хочет побыть один, ему прямая дорога в красный уголок: там пусто, никого нет.

Но и ночной парк был темен и пуст, как будто людей оттуда старательно вывели метлой. Влад нашел утопленную в зелени кустов лавочку, сел и освобожденно вытянул ноги. «Резекция верхней доли левого легкого» — ясней не скажешь. А он в Москве рукав пальто натягивал на ладонь, чтоб через дверную ручку в диспансере не подхватить заразу. Значит, не приди он тогда в военкомат за билетом на Камчатку, никто бы ему и не сказал ни про туберкулез, ни про вспышку, и не было бы никакой Самшитовой рощи. А что было бы? Место в крематории, вот что. С туберкулезом на воле долго не ходят, это он уже успел выучить в санатории: «Солнце — враг!», «Отдохни, чтобы не устать». Мало ли чего... Граната в левом легком, наверху. Граната взорвется — и конец. А когда? Да хоть завтра или через неделю: на солнышке посидишь денек, позагораешь — все равно что чеку выдернешь собственной рукой. Но и без всякого солнышка тут все, как на ладони: песенка спета. Хоть плачь, хоть

не плачь — все, кажется, кончено для Влада Гордина на этом свете. Кто следующий?

И на чудо только последний дурак тут может рассчитывать. Какое еще чудо! Новое легкое, что ли, отрастет вместо старого? Вряд ли. Значит, остается операция — «верхнюю долю» у него отчекрыжат, рука повиснет, как у тех несчастных в бане. И станет Владик инвалидом до конца своих дней... Нет, спасибо, этого не надо. Мало пожил? Ну, тут как посмотреть: люди умирают и в младенчестве и на войне молодые ложатся тысячами и миллионами. В конце концов, жизнь измеряется не только количеством годов. Можно и до ста лет дожить, и до ста двадцати, это иногда случается, а какой кому от этого прок, кроме всеобщего изумления? Хотелось, конечно, до шестидесяти с хвостиком дотянуть, до двухтысячного, перебраться через три юбилейных нуля и поглядеть, как там — в третьем тысячелетии. Не получается... Конечная остановка, поезд дальше не пойдет. Приехали. И не в Москву же возвращаться умирать, домой, к плаксиной эпистолярной Тане. А чем здесь хуже, в горах, если разобраться? Даже лучше: красиво и небо совсем рядом. Надо только решить, срок себе назначить и уйти выше, на перевал — там солнце палит, ультрафиолет свое дело сделает за один день. И конец. И не мучиться, с плёвкой не ходить в кармане. Решить — и все! И это будет правильно.

Как то ни странно, но вопросы, не имеющие ни малейшего касательства к окружающей полезной жизни, посещают иногда рядовых людей, из которых, как на подбор, составлено население нашей планеты. И пусть даже эти грубошерстные люди состоят в офицерских, как полковник Шумяков, чинах — дело ничуть не меняется. Бесплезные вопросы, как крылатые цветочные семена, дуновением ветра заносит ненароком на каменистую почву среднестатистической человеческой души — и они проклевываются там красивой зеленой стрелкой, причиняя своему созидателю либо болезненное беспокойство, либо, напротив, мечтательное успокоение.

Поезд все глубже втягивался в ущелья Кавказских гор, равнинная Россия осталась далеко за горизонтом, а полковник Шумяков, глядя через окно своего купе на утесы да обрывы, все никак не мог очистить память от того разговора, что вел подозрительный писатель в пивном баре «Яма» накануне отъезда. И вовсе не Бог, на существовании которого настаивал лауреат, досаждал Шумякову — с Богом полковник разобрался раз и навсегда, а вот это, как бы вскользь оброненное: «Стрелки ко времени подходят как к корове седло, потому что времени вообще — нет! Не существует! Это нам только кажется!»

Как же «нет», когда вообще-то есть! — думал и гадал полковник Шумяков, приближаясь к месту своего назначения, районному центру Эпчик. Но и сучий этот писатель, лауреат, кое в чем прав: если, например, спишь, то время быстрее проходит, чем если сидишь на работе. И поэтому нельзя мерить, предположим, стрелками рабочее время и сонное. Или можно еще по-другому посмотреть: в той же пивной, за разговорами, просидели часа три, а кажется, всего минут пять проскочило! Ну, десять...

Полковника Шумякова, задумавшегося над прихотливым ходом времени, в горном Эпчике терпеливо поджидал капитан Андрей Зворыкин. В коридоре райотдела КГБ, застланном по всей длине ковровой дорожкой, царила дремотная тишина: государственной безопасности в районе ничто не угрожало, офицеры скучали и играли в домино. К абреку Мусе, бегающему с мешком по горам, все уже привыкли, он стал как бы частью пейзажа. Что же до сброса вождя в пропасть, то это дело повисло на Зворыкине, пусть он и беспокоится. Коллегам капитана сброс представлялся незначительным происшествием, не выходящим из ряда вон. Вот если б горцы контрреволюционные листовки стали писать или устроили антисоветское сборище — это другое дело. Но такие страшные преступления и в голову никому не могли прийти. А с подпольной организацией в туберкулезном притоне капитан Зворыкин решил разо-

браться самолично и, рассчитывая на единоличное же поощрение от начальства, никого из сослуживцев в эту историю не посвящал.

Меж тем оперативные усилия капитана принесли свои плоды, и папка «Дело № 4781-К» заметно расплелась и раздалась. История старого Мусы не обросла новыми подробностями, да и откуда бы им взяться: абрек бегал по горам как серый волк, его никто из заслуживающих доверия людей в глаза не видал. За долгие годы странствий он превратился из живого гражданина в летучую легенду, в миф этого края — какие уж тут подробности! Зато в секретную папку стопкой легли истории болезней фигурантов дела о туберкулезном подполье, густо сдобренные донесениями осведомителя Лобова по кличке Хобот, внедренного в самое логово заговорщиков. Кроме того, несомненную следственную ценность представляли собой показания ответственного руководителя санатория «Самшитовая роща» кандидата медицинских наук и члена бюро элчинского райкома партии Реваза Бубуева. Капитан Зворыкин бывал в гостях у доктора Бубуева в его особнячке не раз и не два и сохранил об этих ночных застольях самые приятные воспоминания.

В последний раз народ в особнячке собрался отборный — человек десять мужиков из районного руководства второго звена. Если б не знать точно, никто и не догадался бы, что компания гуляет в заразном туберкулезном лесу: дом директора стоял на отшибе, чахоточных туда не подпускали близко, да и нечего им там было делать. Харч подавали царский, а о водке и говорить нечего: не местный сучок, а амброзия московского разлива. Хозяин постарался на славу, обо всем подумал: к полуночи появились и девушки. Оглядчивый Зворыкин, дороживший своим здоровьем, поинтересовался: «Откуда девушки?» — и ответ получил удовлетворительный: с турбазы. Это было правдоподобно, это было хорошо.

Знакомство Андрея Зворыкина с девушкой по имени Мара развивалось бурно. Плоская как вобла Мара оказалась молдаванкой из города Бельцы, с подмесом цыганской крови, и это последнее обстоятельство почему-то

развеселило и обрадовало капитана. Цыганка, это ж надо! Никто из сослуживцев Зворыкина знакомства с цыганками никогда не водил. Уже под утро, лежа рядышком со своей неожиданной подругой на кочках просиженного дивана, в чуланчике, приспособленном под комнату для гостей, Зворыкин предположил с опаской, что эта тощая Мара никакая не туристка из Бельц, а туберкулезная из хозяйства гостеприимного доктора Бубуева. Но притомившаяся Мара мирно похрапывала через свой горбатый цыганский нос, и усомнившийся было капитан, вздохнув, отогнал тревожные мысли.

Наутро, поправившись после вчерашнего, гости разъехались по домам, и только месяц спустя, оформляя должным образом папку «Дело № 4781-К» о сбросе в пропасть и о причастности к этому преступлению антисоветской туберкулезной группы, капитан Зворыкин вспомнил о застольной шутке доктора Реваза Бубуева. А шутка эта, встреченная дружным смехом гостей, состояла в том, что поднадзорные доктора решили организовать в санатории подпольный профсоюз туберкулезников. Идея действительно была столь же смехотворна, как если б профсоюз решили организовать заключенные на зоне — домушники или шипачи. Но, перебирая оперативные сводки в папке, капитан увидел тот приятный вечер как на картине — и следственное озарение его посетило: пунктир следов вел в туберкулезное логово, в подпольную организацию. И донесение добровольного помощника Лобова с места событий укрепляло предположение следователя.

Не откладывая дела в долгий ящик, озаренный Зворыкин для начала потребовал от Бубуева обстоятельный отчет в письменной форме. Бубуев тоже медлить не стал и сообщил, что знал. А знал он немного. Источником его информации была, наряду с другими больными, которых он всех добросовестно перечислил, приезжая из Молдавии Мара (добежав глазами до этого имени, Зворыкин задержал дыхание и по-снайперски напряг зрение) по фамилии Трахтенберг. Мара Трахтенберг! Вот это да! Такая цыганка, что хоть в табор отдавай! При всей скудо-

сти знаний о бродячем веселом племени Зворыкин был убежден, что цыганка по фамилии Трахтенберг не может существовать в природе. Удар получился чувствительным, включая и то, что, как следовало из приложенной Бубуевым истории болезни, эта самая Мара, страдающая хронической формой туберкулеза, успешно прошла курс профилактического лечения и отбыла в родные Бельцы. Ну Бубуев, ну член партбюро! Подвел проклятый чучмек капитана Зворыкина под карусель. Теперь понятно, почему липовая цыганка оказалась такая тощая и костлявая: доска да два соска. Все туберкулезные, черт их подери совсем, такие тощие по болезни. Успешно прошла курс лечения, это ж кому в голову взбредет! Успешно или безуспешно, а капитану надо бежать проверяться на туберкулез. Дай Бог, чтоб пронесло, — а вдруг подцепил! Очень даже может быть, что и подцепил, не в планетарии же устроили гулянку, а в самой что ни на есть берлоге неизлечимой болезни.

С возмущением изложив на бумаге профсоюзную затею своих больных, доктор Бубуев просил разрешения приступить к решительным действиям: с пристрастием провести дознание и сурово наказать, вплоть до выписки из санатория, злостных нарушителей заведенных правил социалистического общежития. Место таким негодяям на капиталистической помойке, а не в советском лечебном учреждении! Приказав перепуганному доктору воздержаться от каких-либо оперативных действий и рта не открывать, капитан Зворыкин прошел в ведомственной поликлинике туберкулезную проверку Пирке и немного успокоился: место надреза не воспалилось, ночное знакомство с Марой Трахтенберг никак не отразилось на состоянии его здоровья. Зато воспалилось желание разделаться подчистую с этим гнездом антинародных придурков, с этим гнойным санаторием, который только засоряет краснознаменный Эпчинский район! Райский край этот Кавказ, фруктовый, тишь да гладь, и вот, пожалуйста, приехали: великий вождь и учитель скинут среди бела дня с пьедестала, а в санатории союзного значения действует контрреволюционное подпо-

лье. В профсоюзном санатории! И какие-то чахоточные доходяги хотят организовать подпольный параллельный профсоюз, и это есть самое настоящее государственное преступление. Один профсоюз в стране уже утвержден, и все, кто против него копают, враги коммунизма. И тогда становится понятно, зачем они скинули Ильича в пропасть. Для них нет ничего святого, поставь на горе Карла Маркса — они и его скинут. И получалось, что это все приезжие устроили, чужаки, а местные тут совершенно ни при чем, они в политику не лезут. Порезать друг друга кинжалами или барана украсть — это да, но политика им по барабану. Поэтому все и говорят, что наш Кавказ — это благоухающая клумба и ленинская дружба народов тут процветает.

Добравшись наконец до Эпчика и сидя за служебным столом начальника райотдела майора Гаджимагомедова, уставший с дороги Шумяков выслушал сжатое подделовому сообщение капитана Зворыкина о горном сбросе и профсоюзном подполье и изрек единственное, что пришло ему на ум: «Профсоюзы — школа коммунизма. Это не я говорю, это Ленин сказал, В. И.». Сославшись на неоспоримый авторитет покойника, полковник замолчал и погрузился в служебные размышления.

Не содержавшие никакой информации приветственные речи Гаджимагомедова, секретаря партбюро отдела и начальника следственной части, полковник выслушал вполуха. В профсоюзном освещении дело приобретало дурную окраску, было бы куда лучше, если б происшествие ограничилось одним, отдельно взятым налетом на вождя. События в санатории тянули на групповое дело и переводили ситуацию совсем в другую плоскость. Налет с грехом пополам можно квалифицировать как злостное хулиганство районного масштаба, тем более что никто не захочет ворошить обстоятельства гибели разбившихся комсомольцев-парашютистов. Это раз. А профсоюзное подполье сразу потянет на союзный масштаб и привлечет внимание высшего руководства. Вся ответственность ляжет на него, Шумякова.

И ему придется вести и раздувать дело: отслеживать московские и другие, по всей стране, связи санаторных подпольщиков, вскрывать преступную сеть, привлекать экспертов, сажать, а потом обеспечивать благополучный, без сучка и без задоринки ход суда над преступниками. В этом случае ему привесят орден на грудь и прицепят генеральские погоны, и все планы о тихом и мирном выходе на полковничью пенсию можно будет выкинуть коту под хвост: прославившегося своевременным раскрытием «Дела профсоюзников» генерала Шумякова оставят в кадрах, завистники начнут его подсиживать, ненавистники — жалить и кусать, и ему придется раз и навсегда расстаться с мечтами о душевном покое и спокойной старости на подмосковной дачке... Оставался, однако, другой подход, более взвешенный и разумный: списать всю эту профсоюзную жеребятину на бедственное состояние физического и душевного здоровья фигурантов и спустить дело на тормозах.

— Начинаем работать, — сухо подытожил Шумяков свои размышления. — Все свободны. Капитан Зворыкин, останьтесь.

Руководство отдела во главе с майором Гаджимагомедовым потянулось к двери. Кабинет начальника РО КГБ послушно опустел.

— Пообедаем и можем ехать, — услышал Шумяков бодрый голос капитана. — К вечеру будем в Самшитовой роще, там все под рукой. Место сброса будем осматривать?

— Нет, — сказал полковник Шумяков. — Мой штаб будет действовать здесь. Кого надо, вызовем, кого надо, привезем. Ясно?

— Так точно, товарищ полковник! — не замешкался с военным ответом Андрей Зворыкин.

Московский начальник круто брался за дело, такой кожу сдерет, если что. Сразу чувствуется: центральная власть! А ведь вся разница между ними только в двух звездочках: майор, потом подполковник, и все. И это даже хорошо, что не надо тащиться в Самшитовую рощу

и сидеть там посреди заразы. Умное решение, кто бы спорил. И больше никаких советов — ехать, не ехать — полковнику давать нельзя ни при какой погоде, а то он может неправильно подумать.

— Вызови на завтра... — Шумяков полистал бумажки в папке. — ...Быковского Семена и этого нашего человека, Лобова. Проследи, чтоб они тут не пересеклись.

— Сюда или на квартиру? — уточнил капитан Зворыкин. — Вызвать?

— Сюда, — сказал Шумяков. — И подписку о неразглашении отбери.

Полковник Шумяков, как и абсолютное большинство офицеров его ведомства, был уверен в незыблемой крепости советской власти. Вся государственная система, по его разумению, держалась на густо внедренной в поднадзорное общество сети стукачей, как тяжкая масса бетона держится на арматуре. Ничто, таким образом, не могло представлять реальной угрозы высшему партийному руководству и его передовому отряду — Комитету государственной безопасности. Отлично отработанная система вербовки добровольных помощников — лишь единицы выскальзывали из рук — обеспечивала приток новых сил. Люди испытывали животный страх перед Большим домом и зачарованно шли на контакт. Случались и исключения из правил, ничтожные, впрочем, по масштабу, и тогда высококлассные специалисты из КГБ брали этих моральных инвалидов, этих уродов под колпак и тем или иным способом отсекали их от послушного общества.

Тяга советских людей к настойчивому потреблению веселящих напитков, прежде всего водки и самогона, учитывалась комитетчиками в их работе с населением. «Кто не пьет? Кому не наливают» — этот идущий от души, хрустально прозрачный двучлен комитетчики трактовали куда шире, чем доходчивую картинку: бутылка, яма рта, стакан. Действительно, виночерпий в погонах может налить, а может и не налить. И вовсе не о содержимом бутылки идет речь, а об иных поощрительных благах: повышении по службе, получении дополнительной жилплощади, разрешении на турпо-

ездку в Болгарию, на морской курорт Золотые Пески. Мы — вам, вы — нам. Мало ли что... Но и задушевная беседа за рюмкой способствовала успешному решению комитетской задачи: известно даже сопливым подросткам, что сорокаградусная сближает и укрепляет доверие, а доверившегося человека вербовать приятно и легко. Главное, чтоб арматура общества — добровольные помощники-осведомители — не ржавела, тогда советский народ навсегда сохранит крепость железобетона. И в этом случае полковнику КГБ Николаю Шумякову можно смело выходить на пенсию — враги не потревожат заслуженный отдых военного пенсионера на его подмосковной дачке.

Туберкулезная шатия-братия с ее нелегальной организацией не вызывала у Шумякова ничего, кроме брезгливого удивления. Он не исключал, что эти больные доходяги могли распространять идеологическую заразу — да еще как, на такое ведь каждый способен! — и даже науськать кого-нибудь из местных спихнуть с кручи Владимира Ильича, но прямой угрозы существующему строю он в их действиях не находил. Ученые, интеллигенты! Надо, раз уж он сюда приехал в командировку, прижать их покрепче, напугать и взять на заметку. При Сталине их всех, конечно, мигом бы пересажали, включая медперсонал, а санаторий прикрыли — показали бы им, как профсоюз организовывать! Ну да что прошлое вспоминать... Осведомитель Лобов, как видно из донесений, толковый парень, просигнализировал вовремя, вот он и поможет осветить создавшуюся ситуацию в правильном свете. И мы, как говорится, без большого скандала и не гоня волны, задушим гада в зародыше.

Беседа с осведомителем Лобовым по агентурной кличке Хобот получилась задушевной. Для начала полковник попугал Хобота — кричал на него и бил кулаком по столу, и испытанный прием сработал безотказно: Лобов раскис от страха и на наводящие вопросы следователя отвечал должным образом. Картина вырисовывалась самая что ни на есть подходящая: ядро

подпольной организации состояло сплошь из придурков, плохое здоровье подействовало на их психическое состояние, другими словами, все они съехали с катка и поэтому затеяли борьбу с руководством санатория, а никак не с родной советской властью. Требуя американские капиталистические лекарства вместо отечественных, они проявляют буржуазную слабость. Никаких связей с другими санаториями у них нет. Газету пишет Влад Гордин, журналист, он с Чижовой гуляет, Валькой. С местными тоже связей нет, на кой они кому сдались, эти местные. Название «тублиеры» придумал Гордин, а главный начальник там кавалер Семен Быковский. Почему кавалер? Ну, это как генерал или даже царь — сумасшедшие же не соображают, что говорят. Не называл ли он себя Наполеоном? Называл, называл! Вообще моральный облик этих тублиеров очень плохой, они по всякому случаю выпивают спиртные напитки и его, Мишу Лобова, принуждают с ними пить, хотя это запрещено и перешибает силу выдаваемых лекарств. Нет, против руководителей государства они не высказываются, антисоветские анекдоты рассказывают, но редко. Полет Гагарина их очень обрадовал, как и весь советский народ и прогрессивное человечество, они даже пьянку вечером закатали. Игнатьев? А он у них вроде библиотекаря — ученый человек, рассказывает интересные истории про древний мир. Нет, библиотеки у них пока нет, но, если б была, они обязательно назначили бы этого Игнатьева библиотекарем. Ходит ли он, Лобов, на проверку к психиатру? Нет, не ходит, потому что психиатр у них в «Самшитовой роще» не полагается. А если б был, то обязательно бы пошел к нему на проверку: по ночам мыши все время снятся, прямо замучили. И психиатр выписал бы ему, Лобову, спецпитание: полстакана сметаны на завтрак, две порции второго на обед.

Мыши замучили... Таким образом, с Лобовым по кличке Хобот все было ясно.

На сегодня еще оставался художник Семен Быковский, кавалер.

Вернувшись из Эпчика поздним вечером, Семен Быковский отправился на поиски Влада. Найти Влада Гордина было нетрудно, мест, где он мог оказаться в этот темный час, во всей Самшитовой роще всего раз-два и обчелся: чебуречная, беседка, считанные лавочки в парке. «Стеклашка» была уже закрыта, дорожки парка пусты, поэтому Семен, подойдя к стене женского корпуса, к окну палаты на втором этаже, позвал:

— Влад! Выходи!

За два часа езды в тряском автобусе из Эпчика в Рощу Семен, казалось бы, успел присмотреться и привыкаться к разговору с московским кагэбэшником со всех сторон. Привольно сидя в кресле против съжившегося на стуле Семена, москвич слово за слово тянул из собеседника жилы: что за профсоюз, да как звали дедушку по материнской линии, да зачем прикрываться древними монахами, и как собирались выстраивать связи с туберкулезной больницей номер три в Кисловодске. Не собирались? А с какой собирались? С номер два? А почему не с номер три? Вообще не собирались? Ну как же так, мы ведь все знаем: намеревались, просто еще не успели. Преступное намерение, за это у нас тоже по головке не гладят.

Горбясь и ерзая на своем стуле, Семен Быковский почти не вслушивался в вопросы Шумякова. Ответы — Семен уверенно это чувствовал — скорее развлекали следователя, чем настораживали его. А оправдываться перед ним было бессмысленно, да и не в чем было Семену Быковскому оправдываться. Вот он и говорил легкие слова, какие послушно приходили в голову и, ничего не веся, не означали ровным счетом ничего. Не рассказывать же этому вкрадчивому костолому о душевной тоске туберкулезного мира или о последнем магистре ордена тамплиеров, сожженном на костре! И полковник, кажется, был вполне удовлетворен ходом беседы — не кричал, не ругался и не грозил посадить за решетку. Вдруг, без перехода, он заговорил о «Туберкулезной

правде», газетная тема интересовала его острее, чем профсоюз. «Этот Гордон (“Гордин, — поправил Семен Быковский. — Не Гордон, а Гордин”. И полковник кивнул без всякого раздражения) — профессиональный журналист, мы же, как вы понимаете, проверили, а взялся выпускать подпольное издание, это уже не в монахов играть, это государственное преступление. У нас же монополия на газетные издания! Стенгазета? Но газета же, а не обои! Тем более в санатории уже есть одна стенгазета, вот туда бы и писал этот Гордин (учел все-таки полковник поправку!) свои статейки». Под конец полковник спросил, кто, по мнению Семена, совершил вандалистские действия по отношению к бюсту Владимира Ильича Ленина на перевале, и, получив ответ: «Какие действия? Впервые слышу...» — улыбнулся довольно-таки иронически и убрал блокнотик, лежавший перед ним, в ящик стола.

Более всего Семена Быковского поразило то, что его все-таки выпустили на волю, дали подписать обязательство о неразглашении, дали пропуск на выход — и выпустили. Надолго ли, накоротко — этого он не знал, зато был уверен, что неприятности только начинаются. И теперь пришел черед нарушить подписку о неразглашении и толком поговорить обо всем с Владом и с Игнатьевым.

Влад был скучен, отводил взгляд.

— Ты что-то тусклый. — Семен Быковский тихонько шлепнул его ладонью по плечу. — Спал?

— Лежал, — ответил Влад Гордин. — Валялся.

— Понятно... Врачиха твоя говорит что-нибудь?

— А чего ей говорить? — сказал Влад Гордин. — «Зачем прочитал, это еще не окончательно». Окончательно.

— Заставить оперироваться никто не может, — утешил Семен. — Не хочешь — не идешь.

— А я и не пойду, — сказал Влад. — Это решено. Точка. А врачиху выгонят. Жалко вообще-то.

— Всех нас выгонят — в лучшем случае, — поделился Семен. — Если не посадят.

— А, да, — вспомнил Влад Гордин. — Зачем тебя таскали-то?

— Затем, — сказал Семен Быковский. — Подпольная организация, да газета, да как дедушку звали... Тебя тоже, наверно, потащат.

— Да ради Бога, — пожал плечами Влад, — мне-то что! С меня много не возьмешь, мне жить-то с моим приговором осталось... сколько, не знаешь?

— Ну, это ты зря, — отвел глаза Семен. — Ничего ведь у тебя не изменилось: что было, то и есть; все при тебе.

— Здесь, — приложил Влад ладонь к левой стороне груди, у плеча, — ничего не изменилось. А здесь, — ткнул указательным пальцем в лоб, между бровей, — еще как изменилось, Семен!

— Да ладно тебе! — досадливо повел головою Семен. — Просто ты хочешь бежать впереди телеги.

— Далеко не убегу, — усмехнулся Влад Гордин. — До тупика только... Эмму тоже вызывают?

— Пока не вызвали, — ответил Семен. — Ее в конце недели переводят на кумыс, под Уфу. Направление уже есть. Может, пронесет.

— Не посадят, говоришь? — без особого интереса спросил Влад. — Выпишут, и все?

— Хорошо бы, — горько покривил лицо Семен Быковский. — Но то, что всех разгонят, это наверняка.

— Домой поедешь? — спросил Влад.

— Хорошо бы собраться человек пять, — сказал Семен, — и махнуть к морю через горы. А оттуда уже по домам... Это, конечно, если все обойдется.

— Если не заметут, — жестко уточнил Влад Гордин. — Тогда я с вами.

— Ну конечно, — кивнул Семен. — Тут идти дня три — мимо Джуйских озер и вниз. Ребята в прошлом году ходили, говорят — чудо!

— Я до озер с вами дойду, — предупредил Влад, — и там попрошаемся. Тишь да гладь... А то со мной что случится дальше по дороге, а вам отвечать: уморили, скажут, товарища.

— Ну и шутки у тебя! — отмахнулся Семен Быковский. — Ты умирать, что ли, собрался? Так мы все такие. Забыл?

— Забудешь тут... — поморщился Влад Гордин. — А если забыл — напомнят! Ну да ладно. — Он потянулся за сигаретой, закурил. — Себя-то самого чего дурить. У кого это я читал: «Так уж вышло, что ничего не вышло». Точно сказано, в точку.

Из черных зарослей к корпусу вышел кургузый мужичок в жеваном пиджаке, надетом на майку, и, не доходя входа, раздумчиво остановился в желтом свете фонаря. Влад узнал его: это был тот самый, что в банный день привел вислозадую тетку в кусты, уложил ее в траву и раздавил мышонка. Постояв, мужичок недоуменно пожал плечами, развернулся и пошел прочь от корпуса. Влад и Семен молча глядели ему вслед.

— Этого не выпишут, примерно-показательного, — сказал Влад Гордин. — Чего его выписывать? Про тубплиеров он ничего не слышал, зато уверен, что советские люди не умирают. Вот он и есть настоящий герой нашего времени, надо ему за это медаль дать.

— Кагэбэшник про Ленина тоже спрашивал, кто его скинул, — вспомнил Семен Быковский. — Это похуже тубплиеров будет.

— Кто скинул! — вдруг оживился Влад Гордин. — Да любой мог взять и скинуть! Хоть я! Скажу: это я скинул, дорогие товарищи. А что? Мне ведь все равно терять уже нечего.

— Есть, Влад, что терять, — сказал Семен. — С Лениным они сами пусть разбираются, а вот на солнце, откровенно говоря, тебе нельзя, для тебя горное солнце — нож. На Джуйских озерах печет еще сильнее, чем здесь: сплошной ультрафиолет.

— Вот и здорово, — ответил на это Влад Гордин. — Я купаться знаешь как люблю! Поплаваешь, потом на берегу полежишь, позагораешь. Жизнь!

— А потом... — протянул Семен.

— А потом суп с котом, — отрезал Влад. — Другое измерение.

Эти озера, до которых было часов семь пешего хода и которые он решил определить тупиком своей жизни, пред-

ставлялись Владу Гордину красивым краем обжитой земли — даже и не озера, а пограничная река Лета в зеленых берегах. По эту сторону, в райских зарослях, водились звери, и росли цветы, и пчелы гудели над цветами, но и человеческое присутствие угадывалось: кое-где, у черных кострищ, валялись порожние бутылки и скукоженные презервативы. А та сторона была пустынна, горизонт лежал близ берега, и пели шакалы. Неподвижная темная вода разделяла берега, вода без лодок и рыб.

Влада Гордина тянуло к этой маслянистой воде, в которую надо будет войти, когда придет срок. Сидеть в траве, на берегу, обняв согнутые в коленях ноги, а потом, когда день сольется с ночью и тьма станет неотделима от света, — войти. Когда время замедлит свой ход, остановится и исчезнет.

В эти свои видения в зеленовато-коричневых тонах Влад не допускал никого. Разглядывая странные картины, мастерски написанные, он испытывал мрачное удовлетворение: лишь ему одному дано видеть чудо будущего, перенесенное на холст, и никто иной не сумеет и не посмеет войти в тайный стальной бункер, куда он запер свои сокровища. Его будущее принадлежит ему одному. Истончаясь к концу дней и заострившись до остроты иглы, оно беззвучно проколет пелену между этим светом и тем... Прежде, до посещения московского противотуберкулезного диспансера, Влад Гордин был нечувствителен к подобным высоким материям, жизнь занимала все двадцать четыре часа в сутки без остатка, и на рассуждения о смерти — чьей-нибудь, попадавшей изредка в поле зрения, или, того пуще, своей — не оставалось времени. Смерть казалась Владу явлением сущим, но не имеющим к нему прямого отношения. Теперь все изменилось. Чем ближе прорисовывалась последняя остановка на Джуйских озерах, тем неотвязней преследовало его и не отпускало захватывающее ощущение смерти.

А об открытии, сделанном тем вечером в доме Галины Викторовны, он рассказал своим уже наутро: обстоятельства болезни, загнавшей сюда, в «Самшитовую рощу», три сотни отмеченных туберкулезом людей, не принято

было держать в секрете — как за оградой санатория, на воле. Каждый больной ощущал себя здесь частью целого, частицей сгустка неимоверной слепой беды, не признающей ни порядка, ни правил. Общая страшная судьба, от которой никому не дано было уклониться в стае, помогла удержаться и жить.

Валя Чижова жалела Влада как умела. Она жалела бы его еще жарче, если б все без исключения проявления этой самой болезни не были ей привычны, как воздух. И здесь, в Роще, и на работе, в московской туберкулезной больнице, болезнь Коха окружала ее, не оставляя про света. Узнай вдруг Влад Гордин, что не хирургический нож его ждет, а свалившийся как снег на голову шприц с инсулином, жалость Вали была бы еще глубже: туберкулез — привычная беда, своя, а диабет — чужая и новая.

А Владу было тяжко, муторно; он, сильный, словно бы ног не мог вытащить из вязкой трясины. Валя так хотела как-нибудь помочь ему, что-нибудь милое подарить по щедрости души, но не знала что. Она много чего не знала, и раньше это не мешало ей жить. Теперь, глядя на Влада Гордина, она испытывала горькое беспокойство. Наконец придумала: уговорила свою соседку по палате, трудную на подъем женщину с двумя кавернами в правом легком, перебраться на одну ночь в чулан под лестницей, на случайную койку. Убеждала, приводила неоспоримые бабьи доводы — и уговорила. И, сияя своими синими шариками, доложила Владу: у них есть целая ночь, не надо валяться в кустах, как каким-то бродягам бездомным, и на тумбочке можно накрыть стол — поставить бутылочку, печенье из ларька, чай из термоса. Все у них будет по настоящему, хоть на одну ночь. Главное, чтоб дежурная сестра не приперлась, а то выпишут в два счета. Но мы дверь-то припррем как-нибудь, и, пока сестра будет стучать и дергать, можно спокойно уйти через окно: тут же невысоко.

Влада Гордина обогрела Валина забота, и аварийный отход через окно показался ему разумным решением. Он даже не сразу сообразил, что выписка, так или иначе, им всем грозит — днем раньше или днем позже, а ему, Вла-

ду, никакая дежурная сестра и подавно не страшна — как будто ее появление среди ночи может что-то изменить в его судьбе.

— Я — к тебе, — предложил он сияющей Вале Чижовой, — а твою соседку можно отправить к кубинцу.

— В чулан лучше, — сказала Валя. — Тем более она к негру не пойдет: он же иностранец.

Через полчаса после отбоя Влад, с туфлями в одной руке и бутылкой коньяка в другой, беззвучно крался к Валиной палате. Мужская забота вела Влада Гордина по коридору. Джуйские озера сместились за горизонт, их нельзя было различить, сколько ни вглядывайся.

Дежурная медсестра не пришла.

Влад проснулся на рассвете и с удовлетворением обнаружил на подушке счастливое лицо Вали Чижовой. Женщина спала, Влад не хотел ее будить. Лежа неподвижно, он перебирал в памяти вереницу утр, уводившую в Москву, в прошлое, он вспоминал лица других спящих женщин на своей подушке — без печали и без сожаления. Интересно, надеялись они на что-нибудь, засыпая рядом с ним? На что? На то, что вся их жизнь до самого конца станет золотым продолжением этой ночи? Смешная надежда, ватная! Никто ведь не знает, когда закончится сама эта жизнь — через час, через год. И что там дальше, тоже никто не знает.

Валя, крайняя. Кажется, крайняя. С какою надеждой она спросила вчера, перед тем как уснуть:

— Ты меня любишь?

Более всего он не выносил ночные разговоры под одеялом, просто терпеть не мог. Ночью надо заниматься любовью, а не разводить ее пустыми словами.

— Я в тебя влюблен, — строго сказал он Вале Чижовой, — разве ты не знаешь? Ты — моя возлюбленная.

— Хорошо-то как! — удивилась Валя Чижова. — Мне никто еще так не говорил...

Услышав это, Влад испытал скользнувшее по душе неудобство, неловкость — его хвалили ни за что, — а потом странная мысль пришла ему в голову: можно ведь

и не темнить, не обманывать, если правильно выбрать и расставить слова. Странно, странно! Одно слово — а как меняет всю картину по желанию художника! И картина не из камней, не из железных болванок. Картина из цветного воздуха, вздохни — и ее как бы уже и нет, она не существует в природе. Нет, существует! И тогда, выходит дело, сама наша природа составлена не только из булыжников и этих самых свинцовых чурок и картина слов сохраняется для тех, кто умеет различить ее. Одно слово — «влюблен», и все встало на свои места, и никакого обмана. Вечная любовь засахаривается, как цукат, или сохнет, как муха в янтаре, а ветренная влюбленность проходит быстро и без следа. А потом? Никто не знает, что будет потом, и не надо спекулировать по этому поводу: мы не на базаре.

А потом накатило серое мягкое облако сна, и в дружелюбном тумане слова и части слов вспыхивали и светились и таяли. То был какой-то бал слов, упорядоченное движение — без труб и скрипок, в живой тишине.

Как это ни странно, Сергей Игнатъев, ганзейский специалист, не окончательно еще растерял веру в человека — в отличие от своих молодых сотоварищей-тубплиеров, такую верой не осененных отродясь. Это случается: я встречал немало людей, оттянувших на зоне по семнадцати лет по пятьдесят восьмой расстрельной статье, по десятому ее КРД-параграфу, — и, вышедши инвалидами на волю, продолжавших верить в светлую справедливость революции и ее закоперщиков, павших в борьбе роковой с рябым Джугашвили.

Нет-нет, это вовсе не означает, что ганзеец хотя бы теоретически приветствовал террористические методы управления с их «хорошими» и «плохими» вождами, с «железной рукой», на которую натянута «ежовая рукавица». Вдумчивый историк, он был убежден, что вся верхушка большевистского заговора против робкой русской демократии — это банда разбойников, будь то Ульянов, Бронштейн или тот же Джугашвили. Он много лет вынашивал тайную мечту, мечту опаснейшую: написать

книгу о том, что вся эта кровавая компания, до последнего человека, была подобрана из клинических психопатов — иными словами, сумасшедших, место которых под замком в психиатрической лечебнице. Написать, опираясь не на слухи и сплетни, а на результаты медицинских обследований и мнения врачей-психиатров, и параллель провести с героями другой революции, французской, выпеченными, как и эти, из безумного теста и пожравшими друг друга, точь-в-точь как их российские почитатели и последователи.

И все же отчасти поколебленная вера в человека разумного сохранилась на самом дне души Сергея Игнатъева, ганзейца. Помимо Робеспьера и Ульянова жили на свете и другие люди, если первые по каким-то непостижимым причинам решили не отправлять их на тот свет, а попридержать на этом. Именно к таким случайно задержавшимся и уцелевшим, несмотря на его зловещую профессию, Игнатъев готов был отнести и московского полковника Шумякова, знакомство с которым состоялось в кабинете районного отделения КГБ, на встрече, на которую ганзеец был вызван для дачи разъяснений. Вернувшись в санаторий, Игнатъев по свежим следам написал обстоятельное письмо Лире Петуховой, в Москву.

— «То был, разумеется, форменный допрос», — понизив голос на слове «допрос», читал Мика Углич письмо из «Самшитовой роши».

Гости, сидя вокруг стола над своими рюмками и тарелками, слушали Мику скорее озабоченно, чем беззаботно. Ни обильный жизненный скепсис, ни целетельная в иных случаях самоирония не прикрывали их сейчас от холодных порывов страха: вслед за Сережей Игнатъевым потянут на форменный допрос и каждого из них. И эта жуткая перспектива представлялась гостям Лире Петуховой, да и хозяевам тоже вполне реальной.

— «...Я ничуть не был обескуражен таким приемом, — читал меж тем Мика Углич, — ведь в отделение Большого дома, будь то даже в Эпчике, граждан приглашают не чай распивать».

— Опять, прости господи, этот Епчинск... — сказала Лира Петухова. — С ума можно сойти!

— «...Другое меня поразило, и поразило отчасти приятно, — продолжал читать Мика. — Дознаватель, представившийся как “откомандированный из Москвы старший следователь Ерохин”, производил впечатление человека, стремящегося как можно скорее освободиться от этого анекдотического “дела” о нелегальном профсоюзном центре на территории нашего туберкулезного санатория».

— Будьте уверены, он такой же Ерохин, как я — Иванов, — прокомментировал по ходу чтения микробиолог Коган — бывалый человек.

— «...Другой на его месте, — читал Мика, не отводя взгляда своих судачьих глаз от строк письма, которое он держал на вытянутой руке, на отлете, — специалист того же цеха и той же квалификации, постарался бы раздуть эту историю и, несомненно, преуспел бы: тайны подпольной группировки тубплиеров, газета с эпиграфом “Туберкулезники всех стран, соединяйтесь!”. За глаза достаточно, чтобы переловить и передавить всех, до кого только руки дотянутся. А до кого, друзья мои, не дотянутся?»

Тут Мика Углич сделал остановку в чтении. В нагрянувшей тишине рассыпалась горохом сухая дробь — то микробиолог Коган, оставив рюмку, цокал пальцами по столешнице. Сотрапезники, как замороженные, глядели на чечетку пальцев микробиолога.

— И давно это письмо пришло? — как бы невзначай, как о чем-то второстепенном спросил физик-теоретик.

— Вчера, — дала справку Лира Петухова и тряхнула коротко стриженными волосами с ранней сединой.

— Бывает, что и там, — указал взглядом в потолок, вверх, физик-теоретик, — иногда ошибаются. Может, недоглядели...

— Ну, пошли дальше, — сказал Мика Углич. — Значит, «...не дотянутся. Так или иначе, у меня сложилось впечатление, что этот московский товарищ — семейный наверняка человек, может, уже и дед — всеми силами

хочет, как говорится, спустить это наше “дело” на тормозах, обойти его, что ли, стороной. Я, конечно же, не допускаю ни на миг, что он неуверенно блуждает в поисках истины, держа перед собою, как фонарь, собственную совесть. Нет, не совесть его тревожит. Что же тогда, друзья мои? — Мика, словно бы ожидая ответа на вопрос автора письма, взыскующе оглядел гостей. — Какая-то бытовая, человеческая тревога его сосет. Он не хочет влезать в эту смехотворную историю, затрагивающую его интересы — может, служебные, может, личные. Железный винтик системы — тот бы не поколебался ни на миг. А этот домашний дядька колеблется и упирается, и это говорит мне о том, что что-то человеческое в нем осталось, как ни странно. Из его довольно-таки нелепых рассуждений явствовало, что наша болезнь отрицательно влияет на психику, все мы, таким образом, немного тронулись умом и поэтому склонны к совершению неадекватных поступков — например, игру в древних рыцарей и создание нелегального профсоюза. Поверьте мне, я готов был проголосовать за это вольное предположение обеими руками, лишь бы не посадили в тюрьму и не отправили в сумасшедший дом! Впрочем, он и психушкой не грозил, а упирал на то, что по месту работы прогрессивная общественность нас непременно осудит за глупое поведение».

Закончив чтение, Мика отложил письмо, выпил залпом рюмку коньяка и снова налил.

— Человечный он или нет, — после глубокой паузы заметил физик-теоретик, — но неприятности нас ждут. Всех.

— Без исключения, — охотно согласился поэт-переводчик. — Тут и на картах гадать не приходится. Посадить не посадят, но кровушки попьют.

— А вы, как я погляжу, оптимист! — усмехнулся микробиолог Коган. — Напомните-ка нам, Мика, что он там писал о бюстике основоположника.

— Тут он ограничился намеками, наш Сережа, — сказал Мика Углич. — Бюст упал с горы, но не без посторонней помощи. Вроде бы Сергея и его монахов к этому падению не пристегивают. Во всяком случае, напрямую.

— Хотя его и записали в сумасшедшие, — как нож в масло вошел в разговор математик и энергично ладонью о стол шлепнул, — но не до такой же степени! Вы только представьте себе: ночь, ветер, дикие какие-то горы — и наш Сережа Игнатьев, профессор, специалист по ганзейской торговле, крадется к бюсту вождя и учителя с колуном в руках!

— Живописная картина, — кивнул поэт-переводчик. — Но только не с колуном, а с кувалдой.

— Это вы на Лубянке будете уточнять, — жестко сказал математик. — Может, они вам дадут поблажку за точность.

— Колун, кувалда — какая разница! — раздраженно воскликнул микробиолог Коган. — Главное, чтоб сбрасывание бюста выделили в отдельное производство. Это куда лучше — вы уж мне поверьте.

— Кувалда, кувалда, — продолжал настаивать на своем поэт-переводчик. — Говорю вам как филолог. В чем, в чем, но в словах-то я понимаю. «Колун» несет в себе заряд эмоциональности, это — да. Но откуда высоко в горах взяться колуну? Его и в лесу сегодня днем с огнем не найдешь, разве что в музее.

— А кувалда откуда там возьмется? — язвительно спросил микробиолог Коган.

— Ах, оставьте! — сказала Лира Петухова, впрочем, без всякой досады. — Заранее можно все, что нужно, привезти и припрятать.

— Лом! — высказал свое мнение практичный Мика Углич. — Тут нужен лом. Просто, удобно. И достать легко.

— Откуда вы знаете, Мика, что лом легко достать? — с сомнением в голосе спросил микробиолог Коган. — Когда вы в последний раз держали в руках лом?

— Если бы я вел дневник, — парировал Мика, — я бы дал вам точный ответ. Но дневник в наше время ведут только безумцы. А я...

— Да прекратите вы! — прикрикнула на дискуссионтов Лира Петухова. — Это же форменный сумасшедший дом!

Уже наутро один из участников петуховского застолья передал подробный, исполненный безупречным языком отчет, подписанный кодовым именем Тюлень, своему куратору из Комитета государственной безопасности. В обстоятельном доносе Тюлень информировал о том, что реакцией петуховцев на письмо Сергея Игнатьева из туберкулезного санатория «Самшитовая роща» явилось опасливое уныние и на этом мрачном фоне острая дискуссия собеседников о значении и скрытом смысле отдельных слов напоминала концерт самодеятельности в сумасшедшем доме.

С интересом прочитав отчет, куратор приказал помощнику сделать с него копию и отправить документ полковнику Шумякову, командированному в очаг событий, в Эпчик. Общая политическая обстановка, допускающая, по указанию высокого начальства, некоторые идеологические послабления, не способствовала раздуванию всей этой истории о профсоюзном подполье — тут за служебное усердие можно было и по шапке получить. Куда спокойней представить этих туберкулезников как компанию законченных придурков, занявшихся от санаторной скуки не своим делом. Такое и со здоровыми может случиться, надо же вникнуть и понять...

Сброс скульптуры, известно чьей, тревожил лубянцева куда жарче. Для начала преступное происшествие было засекречено самым тщательным образом. И теперь поймать и прижать беглого Мусу представлялось безотлагательным следственным действием — но ведь пойдешь отлови его в горах! Уже пробовали...

Нельзя сказать, что, узнав от Семена Быковского о его разговоре с московским полковником, Казбек в его Ближнем шалаше испытал прилив беспокойства. Скорее наоборот: приятное чувство удовлетворения от проделанной работы медленно, слой за слоем наполнило его до краев. И к вызову в Эпчик, в РО КГБ, последовавшему вслед за тем разговором, Казбек был снисходительно готов.

Сидя торчком на узком деревянном стуле, Казбек поглядывал на полковника, утвердившегося по другую сторону стола, без особого интереса. А полковник Шумяков, не теряя времени, взял быка за рога:

— Кто сбросил Владимира Ильича Ленина в обрыв? Отвечай!

— Я, начальник, на дороге работаю, — пожал плечами Казбек, — ничего не знаю.

— По этой твоей дороге люди ходят, а не бараны, — привел аргумент полковник, — ты с ними разговоры ведешь, то да се... Кто сбросил, я спрашиваю!

— Кто сбросил, у того и спрашивай! — отрезал Казбек и папаху, лежавшую на коленях, двумя руками водрузил на голову.

— Сними головной убор, — приказал полковник. — Ты в помещении находишься, а не в лесу.

Казбек не спеша подчинился и сидел молча, дожидаясь вопроса.

— Ты Мусу давно видел? — спросил Шумяков. — Он по твоей дороге ходит, нам это известно.

— Какого Мусу? — вопросом на вопрос ответил Казбек.

— Бродягу, — разъяснил полковник. — Бродягу и преступника.

— Абрека Мусу? — снова спросил Казбек.

— На вашем языке, может, это так называется, — усмехнулся Шумяков. — А на нашем — бандит.

— Наш Муса пропал, — вздохнул Казбек и пальцем указал в потолок, в небо. — Совсем пропал.

— Как так? — искренне удивился Шумяков. — В каком это смысле?

— Люди на дороге говорят, — правдиво глядя, сказал Казбек, — галбац его растерзал.

— Какой «галбац»? — собрав лоб в складки, спросил Шумяков. — Что это?

— Волк, — ответил Казбек. — Но с гривой. Наш гривастый волк.

Услышав эту новость, Шумяков приумолк. Охотой полковник не увлекался, предпочитая ей дачное ого-

родничество, но в рассказах, не всегда достоверных, заядлых сослуживцев-охотников такой зверь не всплывал никогда.

— Лев, что ли, такой? — осторожно разведал Шумяков.

— Не лев, — сказал Казбек. — Волк. Но тоже лев.

— Ах, вот что... — Полковник Шумяков поднял руки и, с размаху грохнув кулаками по столу, перешел на крик: — Ты мне голову не морочь, дурак чертов!

— Он нашего Мусу растерзал, — ничуть не испугался Казбек. — Так люди говорят на дороге.

— «Люди говорят»... — повторил Шумяков. — А ты сам этого волка видал?

— Я сам не видал, — сказал Казбек. — Он у нас не водится, он выше водится, под самым снегом.

— А кто ж его видал? — снова разведал Шумяков. — Назвать можешь?

— Он на Вали Алиева напал, — ответил Казбек, как об обычном. — В реку его скинул.

— А это кто такой? — спросил Шумяков.

— Как кто! — удивился Казбек незнанию полковника. — Вали Алиев, наш борец. По вольной борьбе чемпион. Они боролись, и галбац скинул нашего Вали Алиева в реку.

— Чемпион утонул, что ли? — продолжал допытываться полковник.

— Зачем утонул! — отмахнулся Казбек. — Выплыл.

— Жив, значит, — сказал Шумяков. — А где живет?

— В Чиндахе, — ответил Казбек. — К нему потом корреспондент приезжал, из Москвы. Журнал «Юность» знаешь? Оттуда.

Журнал «Юность». Скажи этот чучмек в шапке, что к раненому борцу приезжал корреспондент газеты «Правда», Шумяков не поверил бы ни единому слову из этой дикой истории о волколье. Но «Юность» — этот рассадник антисоветских идей, до которых так охоча нынешняя ненадежная молодежь! Откуда чучмек вообще знает об этом вредном журнальчике, который ответственному руководству давно пора закрыть, а сотрудников разогнать

и пересажать! Но руководство проявляет зачем-то слаби-ну, велит приглядывать за этими вшивыми писаками, но никого не трогать. Оттепель, видите ли, новый подход! А в оттепель все плывет, вся крепежка едет... Может, действительно приезжал корреспондент писать про эту зверюгу? У Николая Шумякова просто в голове не укладывалось, что тупой как валенок дорожный рабочий из местных может пудрить ему, полковнику КГБ, мозги и издеваться, рассказывая интересные басни.

— А ты откуда про корреспондента знаешь? — хмуро осведомился Шумяков.

— Да он, начальник, мимо нас проезжал, — сказал Казбек, — спрашивал стариков про галбаца — не видал ли кто.

— Ну, видал кто-нибудь? — спросил полковник. Ему вдруг остро захотелось как можно скорей вернуться из этого дикого края в Москву, домой, на дачу, но и убедиться в том, что диковинный галбац вправду бродит здесь по горам, хотелось тоже. Зачем это ему понадобилось, он не смог бы объяснить.

— Старик один видал, — сказал Казбек. — Ночью.

— Как он ночью мог что-нибудь разглядеть, — в поисках правды вновь повысил голос полковник, — этот старик!

— Он орехи грызет, — объяснил Казбек зоркость горного старика.

— Какие орехи? — с притаенным интересом спросил полковник Шумяков, испытывавший в последние годы нарастающую слабость зрения.

— Грецкие, — ответил Казбек. — Каждый день шапку целую съедает, в лесу собирает и ест. От этого глаза становятся ясные, и он в темноте видит.

Отпустив Казбека, Шумяков отправил в Москву запрос на заключение эксперта: водится ли в горах Кавказа хищное животное галбац, похожее на волка, но с львиной гривой. Экспертиза была получена без задержки от известного ученого, доктора зоологии профессора Вадимушкина, по получении засекречена и приобщена к следственному делу. Вот она: «Наличие запрашивае-

мого животного определяю как возможное. Во второй половине прошлого века на территории Персии изредка встречались львы. Отдельные особи этого опасного хищника могли мигрировать на Кавказ, расселиться там в труднодоступных высокогорных лесах и сохраниться по сей день». Коротко и ясно.

Реваз Бубуев, заслуженный директор санатория «Самшитовая роща», парил над событиями, как орел над горным кряжем. Но и заслуженных руководителей с переходящим Красным знаменем достает иногда удар беспечной судьбы; Реваз об этом не забывал и парил с оглядкой.

Попытка позвать в гости, в Рошу, московского полковника закончилась неудачей: Шумяков и на пушечный выстрел не желал приближаться к источнику туберкулезной заразы и ответ его был лаконичен и сух: «Занят». Бубуев и не подумал отчаиваться — он и без приглашения отправился в Эпчик знакомиться с приезжим громовержцем из Большого дома.

Кагэбэшник понравился Бубуеву: он не орал, не стучал кулаками и не топал ногами, а мягко, по-отечески журил и пенял за недогляд во вверенном ему, доктору, хозяйстве. Недогляд привел к нарушению нормативных правил, коллектив проявил неустойчивость и разболтался. Некоторая его часть, умственно неполноценная в силу неизлечимой болезни, пошла на преступление. Ну, почти на преступление... Тут Бубуев незаметно вздохнул и проглотил стоявшую комом в горле слюну: угроза немедленного закрытия санатория и отправка его, директора, в лагерь как будто миновала. А Шумяков продолжал с партийных позиций: коммунисты санатория должны покарать отщепенцев и решительно от них отмежеваться. Бубуев ушам своим не верил: как, московский полковник никого, ну совсем никого не арестует? Зачем он тогда приехал из Москвы? А полковник вел свою умную линию: к распоясавшимся больным, не совсем, как видно, уравновешенным людям, следует применить административные меры, чтоб они сделали персональные выводы. Чтобы пятно не легло на все лечебное за-

ведение, чтоб другие больные, ни в чем не повинные, поскорей выздоравливали и возвращались к полезному труду, к строительству коммунизма. А этими негодьями, не успевшими еще нанести тяжкий вред советской власти, должен заняться он, доктор Бубуев, — их судьба в его руках. Как коммунист и советский человек он примет единственно верное решение.

— Всех выпишу! — привстав со стула, прорычал Бубуев. — Вырву заразу из здорового коллектива!

16

Чистка — это чугунное слово, это сокрушительное понятие висело в свое время над союзом нерушимым республик свободных подобно туче, набитой камнями. Граждане, проживая по своим местам, ожидали прихода чистки, как ждут огнедышащего дракона: придет, никуда не денется и от него никуда не деться. И полетят головы с плеч...

Чистка Тридцать Седьмого Года осталась в памяти у тех, кто ее пережил. А обрушилась она и на работяг, и на интеллигентов-прослоечников, и на военную косточку, и на снабженцев, и на руководителей с подчиненными, и на поповичей с поповнами, и на семя выведенных уже под корень кулаков, и на славных славян, и на притихших к тому времени иудеев, и на безобидных татар со среднеазиатами — всех утомонил, никого не забыл рябой Хозяин. То была образцово-показательная Великая чистка, а до нее и после предпринимались чистки поуже. Эти очищающие народный организм действия, начавшись в октябре семнадцатого года, никогда, по сути дела, и не прерывались: кого вычищали со службы, вылушивали из привычной среды, а кого сажали в лагерь либо кончали на лесной лужайке или в расстрельном тупике. Каждому свое, и нечего озираться и с завистью поглядывать на соседа: зависть — нездоровое чувство, оно мешает строительству новой социалистической жизни. Да и не оглядывались — пряча глаза, держались от греха подальше...

Потом Хозяин откинул свои мягкие кавказские сапожки, но верховный страх, внушенный им, никак не выветривался из поднадзорного, просеянного сквозь мелкое сито общества. Жить под знаком чистки трудно, но человек не собака, человек ко всему привыкает. И помаргивает в темном углу уголек надежды: авось беда пройдет мимо, все как-нибудь образуется...

Подъезжая к «Самшитовой роще», Бубуев с удовольствием прикидывал, что он немедля по приезде предпримет, и рисовал картины одну ярче другой. Проще всего было бы устроить общее собрание коллектива — медперсонала и больных, проработать отщепенцев до самых костей и вычистить их — с позором выписать немедленно. Но не зря же говорят — «простота хуже воровства», разговоры о таком собрании пойдут по району, а то и по области, и разразится скандал. И во всем станут винить директора, и Красное знамя отнимут наверняка. Нет, так дело не пойдет. Лучше организовать генеральную проверку, выявить виноватых и выписать их без шума, по всем правилам — с прощальными рентгено снимками, медицинскими заключениями и уведомлениями по месту работы с указанием причины выписки. Провести, другими словами, солидную чистку санатория. И чтоб все было как положено.

Первым попал под раздачу Пузырь — сызранский профсоюзник, ведавший в своем городе оформлением путевок в лечебные санатории. Скрупулезная проверка выявила, что Пузырь никогда никаким туберкулезом не болел, а путевки выписывал себе сам, чтобы хорошенько отдохнуть от канцелярских трудов и подышать свежим горным воздухом Кавказа. Год за годом он приезжал как неизлечимый хроник в «Самшитовую рощу» на три месяца, на казенные харчи. Липовая справка, много лет тому назад полученная по знакомству у главврача диспансера, удостоверяла в том, что Пузырь страдает застарелым туберкулезом в совершенно неизлечимой форме и санаторный режим рекомендован ему для общего поддержания сил. К сызранцу с его крокодильим аппетитом привыкли в «Роще», его приветливо встречали, а про-

вожали с пожеланиями встретиться снова в следующем году. Таблетки ему выдавали скорее для порядка, чем в недостижимых лечебных целях, он их аккуратно складывал в порожний спичечный коробок, а потом, вечером, выкидывал в ручей. Он был совершенно здоров, и если его и следовало лечить, так это от обжорства. Энергия его целиком уходила на переваривание пищи. Все его любили за покладистость и своего рода замкнутость характера. Он никогда никому не набивался в приятели, не вмешивался в чужие дела и ни на что не жаловался. Он отдыхал.

Дело Пузыря директор Бубуев одним росчерком пера выделил в отдельное производство. Никаких связей между Пузырем и антисоветскими тубплиерами обнаружено не было, и кара, возможно, по-хорошему обошла бы его стороной, но профсоюзная должность сызранского гостя выводила директора из себя, само это слово — «профсоюз» после разговора с московским полковником действовало на Бубуева как красная тряпка на быка. Участь Пузыря была решена, и он, собрав манатки, поплелся со своим чемоданом на автобусную остановку.

А расправа над тубплиерами была запланирована на следующую неделю.

Полковник Шумяков не стал дожидаться расправы. Он ограничился тем, что выслушал по телефону доклад Бубуева о предстоящей, с неукоснительным соблюдением социалистической законности, выписке виновных и отбыл в Москву. Сидя в своем лубяном кабинете, полковник ознакомился с зоологической экспертизой профессора Вадимушкина и удовлетворенно хмыкнул: галбац мог быть! А раз так, версия о растерзании разбойника Мусы имела право на существование. Что же касается волкодьва, ловить его на кавказских кручах никак не входило в компетенцию полковника Шумякова.

Грызя привезенные из командировки грецкие орехи, Шумяков заказал еще одну экспертизу — на этот раз в московском Институте судебной психиатрии имени Сербского. Одному из ведущих специалистов ин-

ститута, поддерживавшему доверительные отношения с Лубянской, предлагалось подтвердить или опровергнуть склонность удрученных ходом туберкулезного процесса людей к нервным срывам и психическим расстройствам, могущим привести к антиобщественным, антисоветским поступкам. Специалист — разработчик психиатрической теории под названием «антисоветский синдром» — с подъемом взялся за дело и доступно разъяснил, что такое не только возможно, но и более чем вероятно: ослабленный борьбой за выживание организм негативно влияет на всю нервную систему, прежде всего на головной мозг, и замутненное сознание способно завести такого больного в антисоветские дебри, где, как показывает опыт, советским людям с нормальной психикой просто нет места.

Рыжей Эмме повезло, ее не успели зачислить в антисоветчицы и выписать из санатория по всем правилам. За несколько дней до начала чистки ее отправили под Уфу, на кумыс. Семен Быковский провожал Эмму до автобуса, прощание их было грустным. Рыжая Эмма совсем исхудала, вязаная кофта висела на ее плечах, как на вешалке. Надежды на то, что башкирский кумыс вылечит и спасет, почти не было. Семен долго смотрел вслед уходящему автобусу, гадая о том, суждено ли им когда-нибудь встретиться. И все-таки ей повезло: угоди она под выписку, дорога в Уфу была бы для нее закрыта. Вот и говори после этого, что судьбы нет, а есть только диалектический материализм.

Подготовка тубплиеров к выписке шла меж тем полным ходом. Врачи готовили медицинские характеристики, Бубуев сочинял письма по месту службы наказуемых, а завхоз помечал галочками в бегунке, сдано ли в сохранности казенное имущество, которым пользовались в санатории опальные больные: простыни с одеялами, библиотечные книги, бутылки-плёвки, стеклянный графин для воды со стеклянной же пробкой. Надо было и с рентгеном легких успеть, и кровь обязательно сдать на анализ. Все честь по чести, чтоб комар носа не подточил. На дворе новые времена — оттепель, а не какой-то там ледовитый

зусман культа личности. И благо советского человека, пусть даже и туберкулезника, превыше всего — если он, конечно, не сидит за решеткой, а чудесным образом находится на свободе.

Выписка Быковского Семена, художника, и всей его банды не составляла, таким образом, никакого труда. Бюрократическая процедура, хоть и была сведена к минимуму, никак не коробила наблюдателя и не вызывала сомнений в соблюдении установленного порядка. Решение о выписке, по указанию Бубуева, было передано приговоренным регистраторшей Региной с медовыми волосами под расписку. Вызывать тубплиеров на ковер для разноса и беспечального прощания директор не пожелал — слишком много чести, а вот золотоволосую Регину вызвал и приказал ей передать выписные бумажки молча, без охов и без ахов, и вообще держать рот на замке.

И только в одном-единственном случае простое, казалось бы, дело обросло сложностями: лечащий врач Галина Викторовна Старостина наотрез отказалась подписывать документы на выписку больного Гордина Владислава Самойловича.

— Что значит — отказываетесь? — брезгливо глядя мимо Старостиной, осведомился директор. — Кто вас спрашивает?

За своим директорским столом, на фоне переходящего Красного знамени, Бубуев выглядел внушительно. Со столешницы, покрытой листом толстого стекла, расположившись по соседству с чугунным чернильным прибором, неподкупно глядел на Галину Викторовну горный орел, вырезанный из дерева осетинскими умельцами. Коричневые перья орла были подогнаны одно к другому без пробелов, как рыбья чешуя. Вызванная для разъяснений Старостина оказалась в кабинете директора впервые.

— Мы готовим Гордина к операции, — сказала Галя. — Несвоевременная выписка ставит его жизнь под угрозу. Я не подпишу.

— Да вы знаете, что он натворил, этот Гордин? — Бубуев понизил голос до шепота: — Ваш больной занимал-

ся здесь антисоветской деятельностью. А теперь, когда он разоблачен органами, вы мешаете окончательному решению вопроса. Вы покрываете антисоветчика! Вам придется за это ответить.

— Не подпишу, — повторила Галя. — Я врач, а не милиционер. У Гордина туберкулома верхней доли левого легкого. Вам должно быть известно, что в случае разрушения оболочки все легкое сверху донизу будет обсеменено и летальный исход может наступить в считанные дни.

— А вам должно быть известно, — раскипятился Бубуев, его кавказский акцент стал еще слышней, — что социальный диагноз для нас важнее медицинского! Гордон! Кто такой этот ваш Гордон!

— Не Гордон, а Гордин, — поправила Галя и добавила непреклонно: — Не подпишу.

Не исключено, что жизненный путь Гали Старостиной сложится иначе, чем казалось вначале: она не согнется под мусорным ветром времени, не вступит в извилистые ряды кандидатов в члены КПСС, на слабых ногах она выйдет когда-нибудь на московскую Красную площадь с плакатиком «За нашу и вашу свободу!». И никому не известный Влад Гордин сыграет в этой героической драме свою крохотную проходную роль.

— Я вас уволю! — выкрикнул Бубуев. — Тоже мне, цаца!

— Вот заявление об уходе, — сказала Галя, вынимая из сумочки сложенный вчетверо листок бумаги. — По собственному желанию.

В другом отделении сумочки, бережно застегнутом на молнию, лежал почтовый конверт с письмом, полученным накануне. Начальник отдела кадров пятигорской туберкулезной больницы уведомлял доктора Старостину Галину Викторовну, что она принята туда на полную ставку в должности врача-ординатора.

Известие о коллективной выписке тубплиеров не огорчило Сергея Игнатьева, а скорее обрадовало: он ожидал худшего. Посмеиваясь, ганзеец обсуждал с Семеном Быковским обстоятельства разгрома ордена. Получалось

так, что оттепель не достигла еще той жизнетворной температуры, при которой среда не препятствовала бы существованию вольнолюбивых тубплиеров. С другой стороны, перейди хлипкое тепло в палящий жар — и рыцари Самшитовой рощи обуглились бы в пламени подобно магистру Жаку де Моле и его несчастным соратникам. Так что можно было благодарить судьбу за сравнительно благополучный поворот дела, тем более что вся компания выписанных отщепенцев намеревалась не тратя ни часа собрать купленные в магазинчике при турбазе рюкзаки и выступить в давно уже задуманный пеший поход через горы к морю, в Сухуми. Административные меры никак не затрагивали бережно выношенного плана тубплиеров: из Сухуми, полные приятных путевых впечатлений, все они собирались отправиться по домам. Все — кроме Семена Быковского. А Семен, задумавшийся-таки над превратностями бытия, склонен был изменить свой маршрут кардинально. Зачем, почему? Да кто ж его знает: охота пуще неволи. И после отъезда рыжей Эммы в Уфу, на кумыс, охота эта и тоска только усилились.

Слепая, казалось бы, судьба, посмеивались и рассуждали Игнатъев с Быковским, время от времени размыкает веки и демонстрирует отменное орлиное зрение. А как иначе объяснить тот факт, что и осведомитель Миша Лобов подвергся наказанию и был безжалостно выписан? Он-то в чем проштрафился? Но, как видно, и стукачам иногда приходится несладко. Оставалось неясным, действовал ли тут Реваз Бубуев по собственному усмотрению или следовал указанию Галины Борисовны, прикрывающей своего агента от скандального разоблачения. И этот пикантный вопрос занимал тубплиеров.

Как бы то ни было, Мишу Лобова никто не собирался брать с собою в Сухуми: сексот по кодовой кличке Хобот уже сыграл свою роль в этой истории и теперь был волен идти, куда ему вздумается. Может, его пошлют на курсы повышения квалификации или премируют наручными часами «Победа» за двадцать четыре рубля. Черт с ним, с Лобовым.

Подымайтесь и идите! Покидать обжитые места и уходить всегда немного тревожно. Тубплиеры без проволочек назначили час ухода: пораньше утром, тем более что завтрак им уже не полагался. Решили идти без привала до Джуйских озер, а там остановиться на два-три дня в собственное удовольствие. Семен Быковский, ганзеец Игнатьев и Валя, да еще приятная пара мирно отбывших свой санаторный срок молодых свердловчан, Мирон и Лера, к ним примкнула, не убоясь связи с отщепенцами — вот и вся пешеходная группа. А Влад Гордин? С Владом Гординым выходило сложнее: выписку его почему-то задержали, не успели оформить вместе с другими и теперь надо ждать. Сколько понадобится, столько и будут ждать: день, два дня — никто по этому поводу справок не давал. Можно и подождать, тубплиеры без Влада никуда уходить не собирались, но с ночевкой возникла неувязка: сегодня еще можно, а завтра в санатории ночевать ни за что не разрешат, тут нечего и просить, и на турбазу, это же понятно, туберкулезных на ночь тоже не пустят. Выход из положения нашел сам Влад.

— А на кой мне эта выписка? — безмятежно спросил Гордин. — На лоб я ее, что ли, прилеплю?

Тубплиеры спорить не стали: не хочет Влад ждать — не надо. Все равно он только до озер с ними пойдет, а потом вернется обратно. Проблема с ночевкой была решена, на душе стало теплей. Решили выходить завтра не позже семи утра.

А Влад Гордин, кивнув товарищам, вышел за ворота Роши и зашагал через лесок, мимо Ближнего шалаша Казбека в местный колхоз «Орел Октября». Никто в колхозе Влада не ждал.

Найти на усадьбе колхозного конюха не составило труда. Между мужчинами состоялся деловой дружелюбный разговор, в завершение которого Влад вручил колхознику несколько ассигнаций и членский билет Союза журналистов в придачу, в залог. Ни деньги, ни тем более журналистский билет, по разумению Влада Гордина, скоро ему уже не понадобятся.

На обратном пути, у Ближнего шалаша, Влад столкнулся нос к носу с Семеном Быковским.

— С Казбеком хочу попрощаться, — сказал Семен. — Давай вместе зайдем!

Казбек сидел на кошме, на высокой, туго набитой конским волосом подушке, подогнув под себя ногу и вытянув другую. Увидев гостей в дверях, он, не подымаясь, протянул руку и достал из тумбочки бутылку абрикосового самогона и стаканы.

— Если гора не идет к Магомету, — с порога сказал Семен Быковский, — то Магомет идет к горе.

— Магомет не Магомет, — приветливо процедил Казбек сквозь седые с чернью усы, — а все равно заходи: гостем будешь... Слышал, слышал. — С визгливым скрипом, зубами он вытянул затычку из горлышка бутылки. — У нас в горах эхо — о-го-го! В Ведено мышка икнет, а здесь слышать.

— Ну и что ты слышал, Казбек? — спросил Семен Быковский.

— Выгнали вас, — беспечно ответил Казбек, наливая самогон в стаканы. — Из санатория.

— Выгнали, — подтвердил Семен. — А за что — знаешь?

— Да ни за что! — убежденно сказал Казбек. — А за что из этого вашего гадюшника можно выгнать больного человека? Заразу вы, что ли, там украли из бутылки? — Он затолкал на треть затычку в бутылку с самогоном и поднял свой стакан. — За здоровье!

Влад смеялся. Абрикосовый плескался в его стакане, но не расплескивался.

— Ну да, — смеясь, сказал Влад Гордин. — Только не из бутылки, Казбек. Сундук взломали, палочки Коха выгребли оттуда — советский народ травить.

— А ты не смейся! — предостерег Казбек. — Вон, Ленина на перевале свалили, как бы на вас не подумали.

— Подумать, конечно, могут, — согласился Семен Быковский. — На нас, на вас... Если б на нас подумали, мы бы не самогон тут с тобой распивали, а сидели бы на нарах.

— Никого они пока не поймали, — сказал Казбек. — Начальник-то уехал московский. Мусу велел ловить и уехал. А наши ловить Мусу ни за что не будут.

— Нет? — спросил Влад Гордин. — Почему?

— Мусу все уважают, — коротко объяснил Казбек. — У нас такого человека нет, который Мусу не уважает. Начальник уехал, теперь я поеду в Москву.

— Повезут, что ли, тебя? — уточнил Семен Быковский. — Под конвоем?

— Сам поеду, — сказал Казбек. — Дело у меня там есть: в Мавзолей пойду.

— Да ты что?! — опешил Семен.

— У нас на партийном райкоме, — объяснил свое намерение Казбек, — написано на стене: «Ленин жив!» А наши люди говорят: умер. Вот я и схожу, проверю. Если умер, зачем тогда врать?

— Ради такого дела стоит поехать, — согласился Влад. — Я бы тоже обязательно поехал: интересно ведь!

— А ты что, туда не ходил, в Мавзолей? — с усмешкой спросил Казбек. — Все ходят, а ты не был?

— Не был, — признался Влад. — Как-то в голову не приходило. И очередь большая.

Теперь смеялся Семен. Веселое получалось прощание с Казбеком.

— Я тоже, пожалуй, теперь схожу, — сказал Семен Быковский. — А то даже неудобно как-то...

— Вместе пойдем, — заключил Казбек. — Ты ведь в Москве будешь?

— Нет, — ответил Семен, — не в Москве. Мы завтра утром махнем в Сухуми, оттуда я к сестре поеду, в Тобольск. Тобольск — слышал?

— Не слышал, — покачал головой Казбек.

— Ну и не обязательно, — сказал Семен. — Сибирь это. Там у сестры домик, как твоя сакля, только деревянный.

— Хорошо, — кивнул Казбек. — Маленький, зато свой. Никто не выгонит. Ни Бубуев, никто.

— Бубуев где хочешь найдется, — сказал Влад. — Без Бубуевых колеса не крутятся.

— Верхом надо ездить, тогда колеса не нужны, — заметил на это Казбек. — А Бубуев этот — ишак, не наш человек. Только фамилия наша, а больше ничего нет.

— Поеду в Тобольск, — повторил Семен Быковский, — отсижусь там. Знаешь, говорят, родные стены лечат. Я к сестре который год собираюсь, никак не доеду.

— Сестра-то — хорошая? — заботливо спросил Казбек. — Как зовут?

— Майя, — сообщил Семен. — Больше нас никого не осталось, из всей семьи: она да я.

— Ну и хорошо, — неизвестно почему решил Казбек. — Я тебе бутылку абрикосового дам, будешь Кавказ вспоминать.

— Сестра не знает, что приеду, — продолжал свое Семен. — Дверь откроет — а это я. Вот обрадуется!

— Давно не видались? — спросил Казбек.

— Лет семь или восемь, — ответил Семен Быковский. — Она в Москву не ездит, билеты дорогие. И дом бросать тоже, знаешь, не хочется.

— Правильно делает, — сказал Казбек. — Дома сидеть — лучше не бывает. А уедешь хоть на неделю, все растащат, унесут. Ищи по соседям потом...

— А ты в Москву поедешь — не растащат? — спросил Влад Гордин.

— У меня не утащат, — с уверенностью сказал Казбек. — Здесь горы, воровать нельзя, а в Сибири обязательно украдут: там рука не терпит. Сам не знаешь, что ли?

— Чего тут не знать, — беспечально отозвался Семен Быковский. — Бывает... У вас тут закон другой.

— Другой, — жестко подтвердил Казбек. — Раньше за воровство руку рубили, еще до дружбы народов... В Сухуми через перевал пойдете?

— На озера, потом на перевал, — сказал Семен. — Завтра выходим, с утра пораньше.

Наутро, вскоре после рассвета, собрались в полном составе у ворот. Санаторий спал. Угомонились цикады на исходе ночи, ветер повис бахромой на ветвях деревьев. Тишина стояла над миром на своих белых ногах.

— Ну, с Богом! — вскинув рюкзак на спину, сказал Семен Быковский.

— Еще пять минут, — попросил Влад и глянул на часы. — Надо, Семен!

Семен пожал плечами под лямками рюкзака:

— На посошок, что ли?

— Нет, не это, — качнул головой Влад Гордин, — хотя можно, конечно... Сейчас увидишь.

По дороге легко шагал к воротам колхозный конюх, ведя лошадку в поводу. В мешках курджуна, навьюченного на спину лошади, позванивало.

— Это к нам, — широко улыбаясь, сказал Влад Гордин. — Я договорился.

— Лошадь! — восторженно изумилась Валя Чижова. — Это же лошадь! — Как будто колхозный конюх вел на веревке гиппопотама.

— Ну да, — подтвердил Влад. — Мне ее дали до конца недели. Не тащить же коньяк на собственной спине до самых озер! Вон как звенит! Ящик с прицепом, хлеб, сыр. И зелень.

— И никаких тебе колес, — сказал Семен Быковский. — Ну ты даешь, Влад!

— А этот парень с нами пойдет? — спросил Сергей Игнатьев, ганзеец. — Этот джигит?

Тем временем конюх передал повод Владу, сказал: «Овес в курджуне», — и отправился к себе в колхоз «Орел Октября». Походка его была летуча, словно бы он шагал по натянутому канату.

— Да я и сам справлюсь, — сказал Влад Гордин. — Я умею. На черта нам сдался коновод на озерах?

Валя Чижова своими синими шариками глядела на Влада с выражением полного счастья. Влад достал живую лошадь! И умеет с ней обращаться! Вот что значит настоящая любовь, от всего сердца! И два дня на Джуйских озерах, с ним!

Жизнь, несмотря ни на что, получалась совершенно прекрасной.

Телеграмма пришла ближе к полудню, когда тублиеров уже и след простыл. Почтальон сдал бланк с отпечатан-

ным на узких полосках текстом регистраторше Регине под расписку. Регина с медовыми волосами передала депешу, адресованную вышедшему Быковскому Семену, секретарше директора Бубуева.

«По поручению заведующего отделением травматологии тобольской городской больницы, — читал Бубуев, — сообщая что гражданка Быковская Майя Викторовна скончалась в результате травм полученных при обрушении потолка тчк похороны состоятся завтра кладбище № 2 тчк делопроизводитель Самсонов».

Озер было три: зеленое, охряное, синее. Озера лежали как цветочные лепестки на травяной ладони луговины, обрамленной скалами и горным лесом. В лесу жили птицы и звери, а людей не было видно.

Люди и их лошадь пришли к озерам перед закатом; голубая паутина вечера еще не опустилась на луговину, а пронизывающий свет дня уже утратил беспристрастную ясность, не знающую жалости.

После долгого дня пути купанье в ледяной воде Джуйских озер, с разбегу — что может быть лучше! Вмиг покрасневшая кожа покрывается пупырышками, а дружелюбное солнце сглаживает их без следа. Загорать на озерном берегу, в траве, а потом сидеть у ночного костра, который дан нам взамен дневного солнца. «Самшитовая роща» с ее таблетками, запретами и процедурным кабинетом — это что еще за зверь? Где она осталась, Роща, — в другом измерении, в другом страшном и диком мире? Здесь, на озерах, счастливое лежбище людей, скрепленных связями куда более прочными, чем социальные или профессиональные, прибитых друг к другу ветерком удачи. Здесь горстка единомышленников, спящих неизлечимой болезнью и присутствием смерти, в лицо которой избегают открыто глядеть.

А Влад Гордин — тот глядел. Нарушение запрета притягивало его и влекло, и погружение в ледяную воду, категорически ему запрещенное, ставило, по его разумению, последнюю запятую перед развязкой. Всю дорогу до Джуйских озер его так и подмывало поскорей нару-

шить запрет — и поглядеть, что вслед за этим произойдет: обрушится ли на него кара, наступит хаос или нет.

Просыхая на берегу, наливаясь закатным золотым теплом, Влад Гордин опасливо думал о том, что ничего здесь может и не произойти. Пройдет день, другой, ребята уйдут в Сухуми, а он, Влад, останется. Решение решением, и время выбрано верно — но вдруг что-то там, в левой верхней доле, не сработает вовремя! Он ведь не вешаться сюда пришел на суку, по часам. Результат-то, правда, один и тот же, но болтаться на веревке — нет уж, извините. Лучше немного подождать, тем более что, может, и ждать совсем не придется: вода здесь как лед, завтра с утра до ночи на солнце жариться плюс пьянка — от этого загнешься наверняка.

А если нет — висеть между небом и землей, пока твой Час за тобой не придет.

Шумный праздник много что списывает, почти как война. На празднике освободившихся, на пиру выбравшихся из сети только лошадь, разгруженная и стреноженная, сохраняла уравновешенное спокойствие. Прядая ушами, она пощипывала траву близ костра и не спешила жить. Возможно, она не ощущала безостановочного движения времени над луговинной и это примиряло ее с действительностью. А люди жгли время в костре, оно постреливало в пламени вместе с сухими сучьями и взрывалось праздничными султанами искр. А люди пили и пели, и связный разговор не опоясывал их круг, согретый огнем костра. Время бежало и мчалось, нахлестываемое людьми, и на горизонте их воображения проступал приморский город Сухуми, оттуда тянулись дороги в Москву, Свердловск и сибирский Тобольск, где было уже готово к погребению тело убитой обрушившейся потолочной балкой Майи Быковской. Люди пили и пели, но и бежали сломя голову от вчерашнего дня в завтрашний. Скорость их движения возрастала неприметно для глаза, и раскручивалось, крутилось чертово колесо, пока действовал непостижимый механизм вращения — то ли зубчатый, то ли коленчатый, то ли еще какой. Все это было

задумано и продумано далеко-далеко от Джуйских озер, и люди у костра лишь следовали заданному.

Колесо Влада Гордина должно было остановиться здесь, на Джуйской луговине. Так, во всяком случае, решил Влад. Он, ему казалось, был готов к этому ходу событий; отчасти это было верно. И такая готовность отличала его от других людей у костра.

— Выпьем!

— Наливай!

И Влад наливал коньяк в стаканы и кружки и тянулся чокаться.

— За все хорошее!

— За орден тубплиеров!

— За следующую встречу!

Влад Гордин пил за все хорошее, за тубплиеров и за следующую встречу, которая не случится. Он много пил, но хмель не доставал его.

— Выпьем за лошадь! — предложил Влад и поднял стакан. Никто не возражал: за лошадь так за лошадь.

Все они уйдут, и Валя. Лошадь останется с ним. Хорошая лошадь. Не идти же ей в Сухуми, не лететь потом в Москву или Тобольск! А скоро, когда все уже закончится, лошадь потрусит себе налегке по знакомой дороге вниз, в колхоз. А Влад Гордин останется лежать здесь, в траве, лицом к небу. Кто-нибудь найдет его когда-нибудь. Или не найдет, и он стечет в праздничную, роскошную землю луговины. Влад как бы глядел на себя со стороны, но и изнутри неотрывно глядел — взыскующе и цепко.

Валя наткнулась на опушке на семейство грибов, набрала целый подол. Грибы были крупные, размером с пузатую трехлитровую банку, с маслянистыми коричневыми шляпками.

— Там еще полно их! — радовалась Валя. — Это же белые, точно!

— А если потравимся? — выразил опасение приبلудный свердловчанин Мирон. — Может, они ядовитые? Белые раза в три меньше.

— Белые, белые! — стояла на своем Валя Чижова. — Это у нас в России они меньше, а здесь — другие.

— Местные вроде грибов вообще не едят, — заметил Игнатьев.

— Дайте-ка мне! — сказал Влад. — Пахнет-то как! — И откусил от ножки.

Товарищи смотрели на него с опаской: что это он вытворяет!

— Если через полчаса не загнусь, — прожевав и проглотив, сказал Влад Гордин, — тогда можно жарить.

— А мы почистим пока, — предложила Валя. — Лера!

Подруга приبلудного свердловчанина без особой радости поднялась от костра, из-под руки обнимавшего ее за плечи Мирона.

А Семен Быковский подсел к Владу, глядел на него с вопросом.

— Ну да, — сказал Влад. — Ну да, ядовитый, не ядовитый — какая разница! Давай выпьем за тебя, Семен!

— Может, Валя с тобой останется? — сказал Семен.

— Это еще зачем? — резко спросил Влад. — Ни к чему. Ей дальше жить надо.

— Ей-то, может, ни к чему, — проговорил Семен Быковский. — А тебе? Что ж ты тут один будешь?

— Мы к жизни привыкаем, — сказал Влад. — А смерть, Семен, непривычная работа. Ее самому надо делать, ни у кого подмоги не просить. Не так, что ли?

— Не знаю, — отозвался Семен. — Я не знаю. Мы ведь живем пока...

— Живем — мы, — продолжил Влад. — Все вместе. А умирать мне — одному. Ничего не поделаешь.

— Да, не поделаешь! — шепотом воскликнул Семен Быковский и руки с распрямленными ладонями выкинул вперед, как будто хотел оттолкнуть костер или оттолкнуться от него. — Меня на фронте тысячу раз могло убить — не убило же! Что мы знаем!

— Там, наверно, по-другому, — заметил Влад. — Страх хотя бы общий: все вместе боятся смерти. А тут ничего общего нет, кроме жизни.

Эти слова — «умереть», «смерть» — Влад Гордин проносил веско и отчетливо, как бы пробуя их на язык, и

получалось не горько. Выбив шелчком сигарету из пачки, он закурил и затянулся дымом.

— Вот привык к табаку, расставаться жалко, — сказал Влад. — Даже смешно. У меня еще пачек пять осталось — хватит.

Семен Быковский маялся этим разговором. Скорей бы завтрашний день прошел — и дальше, в Сухуми. Денек в Сухуми — и снова в дорогу, денег хватит на плацкарту, так что можно будет добраться до Тобольска со всеми удобствами. А там — Майка, дом, скрипят полы, и никаких разговоров о страхе и смерти. А потом Москва, и на будущее лето, может, снова «Самшитовая роща», если, конечно, не дадут от ворот поворот. И год провернется.

Завтрашний день для одних тащился через пень-колоду, для других летел на крыльях. Так, наверно, было по всему белу свету, не только на разноцветных Джуйских озерах. Для Влада Гордина время остановилось как вкопанное.

Поднялись чуть свет, с птицами. Воздух еще не очистился от ночной темной тяжести, но первые лучи солнца выкатывали день из небесных восточных пещер, и этот последний день обещал быть прозрачным и голубым, с зеленоватым травяным отливом. Скучно было валяться в спальном мешке, на свету, и ведь занавеску не опустить. Валя посапывала под боком. Как только Влад Гордин нетерпеливо пошевелился, она послушно открыла глаза, молочно замутненные сном.

— Подъем? — спросила Валя Чицова. — Уже?

— Утро, — сообщил Влад. — Купаться пойдешь?

— Окунуться можно... — с сомнением сказала Валя. Солнце действительно не успело еще прокалить воздух; было прохладно.

После теплого спальника озерная вода казалась ледяной. Валя и Влад уселись на берегу, прислонившись друг к другу холодными мокрыми плечами.

— Чего молчишь? — спросила Валя.

— Я не молчу, — глядя в воду, сказал Влад. — Я думаю.

Вале Чижовой было бы лучше, если б он думал вслух и говорил ей какие-нибудь приятные слова. А Влад Гордин думал о том, что последний день пришел, завтра все уйдут, и он останется один на все времена. Солнце шло по небу, из своего золотого подола высыпало искры на водяные барашки озера. Солнце карабкалось ввысь, держа путь на закат, а Земля с ее Джуйскими озерами, с Владом на каменистом берегу, с выбирающимися из своей тесной палатки приبلудными свердловчанами Мироном и Лерой — наша Земля, летя в космосе, оборачивалась вокруг Солнца с непостижимой, говорят, быстротой. Может, так оно и было, хотя бешеный ветер не свистел в ушах и твердь сохраняла надежную устойчивость. Может, так оно и было, но Владу Гордину представлялось иное: под огненным парусом шар Солнца плывет по небесному морю на запад, но никакой не шар, а это он сам, Владик, огибает неподвижную Землю по пути на закат.

День, прозрачный насквозь, завис над луговиной, пустынные озера вспыхивали и мерцали, как граненые самоцветы в серебряной оправе берегов. Люди и их лошадь переходили с места на место, передвигались, подобно фишкам на игровом поле. Людям вдруг стало ясно, что день впереди — пустой и долгий и нечем было его заполнить: не нужно идти в процедурную, в столовую или дожидаться, когда придет почта. Этот день на пути в Сухуми стоял как ком в горле. Хотелось, чтоб поскорей наступил вечер, потом ночь, а наутро можно будет распрощаться с Владом Гординым и уйти через перевал к морю. Так хотелось уходящим, да и Влад погонял бы время, если бы мог. Но он не мог: Время, как желтый стог, стояло посреди луговины и не было никакой возможности на него повлиять — сдвинуть с места или сжечь.

Пьянство — лучшее оружие в борьбе со временем. За стаканом вина сожженные дотла минуты-часы выпариваются из обихода жизни и, провожаемые победными взглядами собутыльников, возвращаются к вечности. Никто не возражал против такого наступления на бесчувственное время, даже специалист по ганзейской торговле Сергей Игнатъев из далекого круга Лиры Петухо-

вой не стал подыскивать контраргументы. Все были «за», и немедленно, разве что лошадь не разделяла это здоровое стремление ускорить вращение то ли Земли вокруг Солнца, то ли Солнца вокруг Земли. Лошадь своими оттопыренными негритянскими губами пощипывала себе траву и, возможно, ведать ничего не ведала о загадочной связи времени и пространства.

Бутылки были откупорены, стаканы наполнены, на газетке теснились вперемешку яблоки, белый овечий сыр, перья зеленого лука, хлеб и рыбные консервы «Частик в томате». Коньяк «Кизляр» местного кавказского разлива плескался и убывал. Разговор шел, потом побежал, спотыкаясь. Говорили все вместе, каждый о своем. Купались, хохоча. Разожгли костер, пекли картошку и грибы. Снова купались. Девушки возмущались количеством выпитого, но от мужчин не отставали. Наступил полдень, солнце перевалило зенит, и день пошел на убыль. Сухуми как бы приблизился чуть-чуть, хотя никто к нему не сделал и шагу: вот здорово, не через четыре дня будем там, а уже через три, если не считать сегодняшнего. Как будто Сухуми был долгожданной конечной остановкой, а не промежуточной станцией на дороге. Сухуми, город Солнца!

Вечер не принес с собою ничего, кроме темноты. Языки заплетались, мысли беспривязно витали над костром и над потемневшей водой Джуйских озер. Все было выпито до капли и съедено до крошки. Спать разбрелись не прощаясь, не глядя на часы. День да ночь — сутки прочь. Днем меньше до Сухуми, до конца.

Вечер спустился, или ночь сошла — Владу Гордину это было все равно, он и часы-то свои не заводил уже третьи сутки. Какая разница, который час на дворе? Здесь темно, и звезды свисают с неба, как черешни, а на обратной стороне Земли сияет солнце и птицы поют. Но здесь, на озерах, темно, и то, что американцы в Сан-Франциско едут на работу, не меняет ничего в расписании жизни и смерти. Мало ли что! На острове Борнео сейчас вообще свирепствует зима и ливни льют на голубые головы попугаев.

Звезды свисали, вершины за озерами были едва различимы в мягкой тьме. Живая тишина мира достигала неба, и только одинокий шакал вдалеке дул в свою свирель. Потом появилась луна, и вид стал похож на натюрморт: оранжевый апельсин на черной, в серебряной бахrome звезд скатерти неба. Влад Гордин вглядывался в дивное пространство перед собой, ему казалось, что это и есть конец его пути и все так и останется на вечные времена. Что нет ни рая, ни ада, а только зубчатые очертанья гор, луна над водой и эта завораживающая песня шакала.

Валя Чицова отчаялась ждать Влада и уснула: хмель взял свое. Услышав за спиной сопенье спящей, такое постороннее здесь, Влад досадливо поморщился, поднялся с прохладной земли и полез в спальный мешок.

Долгие проводы — лишние слезы. Влад Гордин, впрочем, и не думал лить слезы, он молча наблюдал за сборами своих товарищей в дорогу и ждал нетерпеливо, когда же они, наконец, отправятся в путь. А Валя Чицова всплакнула, ее синие шарики влажно светились невысказанной печалью: ей казалось, что чего-то она недосказала, чего-то недоделала, но как надо исправить положение, не знала. Влад запихнул в ее рюкзак несколько оставшихся банок консервов и буханку хлеба и резко, рывком затянул ремешки рюкзачных карманов.

— А тебе? — почти испуганная такой резкостью, спросила Валя.

— Мне не надо, — коротко объяснил Влад.

Всему приходит пора. Сборы закончились, пришла пора прощаться. Обнялись, сказали обкатанные, как галька, прощальные слова и пошли цепочкой прочь от Джуйских озер к перевалу. Одним поскорей хотелось идти, другому — остаться.

Когда ушедшие скрылись из вида, Влад освобожденно потянулся всем телом и улегся на землю, поверх спального мешка. Каждое прикосновение к обгоревшей от сильного солнца коже причиняло боль, и вчерашнее пьянство не прошло даром — голова Влада гудела, в гор-

ле пересохло. Может, это и не от коньяка, с сомнением прикинул Влад, может, это яд бродит в легких. Он с трудом, вжимая голову в плечи, поднялся на четвереньки, потом встал на ноги и побрел к воде — пить. Лошадь, подойдя близко, глядела на него укоризненно. Морщась от приливающей головной боли, Влад повесил ей на шею торбу с остатками овса, а потом зачерпнул озерной воды в жестянку из-под консервов и выпил залпом, не отрывая губ от зазубренного ободка.

Голову отпустило. Он поваялся еще часок, вслушиваясь в свое больное тело и не слыша ничего. Никто, собственно, и не говорил, что тело должно подавать ему какие-то особые сигналы в этот последний день. Он знал, что иногда вместе с кашлем появляется кровь, и это конец. То было теоретическое, литературное знание, Влад Гордин никогда в жизни такого не видал. Теперь и спросить было не у кого, а то бы он спросил. Не у кого, да и некогда: скоро он получит ответы на все свои вопросы, даже и незадаанные. Ему хотелось верить, что получит, и это, пожалуй, укладывалось в тупик жизни, светящийся надеждой.

Настораживало другое: он испытывал голод. Острое чувство голода рисовало перед ним картинки, живо сменявшие одна другую: душистая теплая краюха хлеба с половинкой луковицы, щедро приперченный суп харчо, дымящееся мясо в обугленном жиру, тушки соленых огурцов защитного цвета. По углам картинок почему-то порхали ангелы с оттопыренными сливочными пальчиками. Это был, наверно, рай: тепло, летуче. Влад Гордин с огорчением подумал о том, что пива здесь не видать, — и тотчас появилась в поле зрения пивная кружка в белом берете пены, свесившейся набок. Можно было начинать. Влад поднялся с земли и побрел к опушке, где Валя Чижова нашла белые грибы размером с трехлитровую банку.

Грибы, не таясь, стояли на земле на своих толстых мускулистых ногах. Грибы толпились, можно было без помех набрать их целое ведро, но ведра не было у Влада. Можно было отнести их в охапке на стоянку, к ко-

стрищу — но это было ни к чему. Вывернув один гриб средней величины, Влад обтряс землю с корня и вгрызся в мякоть. Соль пришлась бы тут кстати, но не было и соли. Влад жевал и глотал пахучую безвкусную массу, и чувство голода понемногу отпускало. Шастая в кустах, он поднял целую тучу мелкой жалящей твари, и теперь комары с отвратительным писком кружили вокруг его головы.

Никого не было кругом, и никто не появлялся. Влад Гордин вернулся к воде — смыть пот и приставший к коже растительный сухой мусор, а потом передумал: зачем это? Все равно ночью все будет кончено. И какая разница, чистая будет у него кожа или нет. Лежа на своем мешке, Влад лениво считал до ста, сбивался и начинал снова. Ничего не происходило. Он, приподнявшись, откашлялся — крови не было. Лошадь подошла и терпеливо глядела на человека.

Влад назначил себе время — ночь, пора темноты. Люди почему-то чаще всего умирают ночью, если это не война и не мор. Почему так получается, Влад Гордин не знал, хотя когда-то, походя, задумывался над этим, а теперь ему было лень гадать. Может, смерть придет к нему во сне. Он рассеянно вспомнил, что читал какую-то книжку об Индии, там, в городе Бомбее, тысячи бездомных спят как можно больше, валяются на улицах и спят. Мысль Влада заработала, очистилась память. Ну да, точно! Эти индусы не хотят просыпаться, потому что во сне жизнь проходит быстрее. Обезьяны или даже тигры в той же Индии спят, сколько необходимо для равновесия сил и не более того, потому что они, в отличие от людей, ничего не знают ни о времени, ни о неотвратимой смерти.

Тогда, читая, Влад усомнился в том, что бомбейские бродяги умно поступают. Надо было им действовать как раз наоборот: спать как можно меньше, чтоб больше времени оставалось на жизнь. Теперь Влад Гордин, пожалуй, был готов согласиться с бездомными индусами: сон помогает справляться с упрямой жизнью, растворяет ее в себе, как вода — крупинки сахара. Но и сон не брал Вла-

да, его рассудок мерцал, становясь то прозрачным, как пласт льда, то затуманивался, когда дрема проплывала мимо и касалась краин его сознания. Влад ждал того, что должно случиться ночью, он ждал назначенного им самим, такого уже близкого конца, и ничто не могло отвлечь его и увести в сторону от этого ожидания.

Лежа с закрытыми глазами, он без всякого интереса вспоминал прошлую жизнь. Так полагалось, все ее вспоминали — вот и он тоже. Из детства, из далеких бесправных лет, он ничего не мог припомнить, сколько ни старался. Где-то там, на лужайке детства, присутствовали папа с мамой, но скорее как размытые тени, а не как живые люди с теплыми руками. Папа с мамой исчезли в прошлом, таком, казалось бы, недолгом — на первый взгляд. Но это только на первый взгляд: прошлое, и лишь оно, занимало все обозримое пространство, там можно было вольно переходить от события к событию и не возникало принудительной нужды все выстраивать в хронологическом порядке и подтверждать достоверность того или иного случая со справкою в руках.

На сером, с жемчужным оттенком фоне прошлого возникали из глубины лица молодых женщин, красивые и некрасивые, но привлекательные и милые. Эти женщины, которых Влад Гордин вспоминал с благодарностью души, появлялись вразнобой: окололитературная Таня с «Войковской» была почти неразличима, а колхозная Фефелкина, приехавшая в Москву из деревни за вареной колбасой и прожившая у Влада четыре дня, занимала одно из первых мест в альбоме. Эта Фефелкина, имя которой было забыто напрочь, а фамилия сохранилась в памяти лишь благодаря своей необыкновенной неблагозвучности, не докучала Владу пустыми разговорами: поднявшись поутру с кровати, она немедленно приступала к мытью полов и стирке белья, хотя обстоятельства этого совершенно не требовали. Получалось так, что Влад Гордин безукоризненно относился ко всем своим женщинам, в каждой из них находя что-то особенно для него приятное; хоть ненадолго, на два-три дня, он влюблялся, а потом влюбленность проходила самым естественным

образом. Но, в отличие от многих своих сверстников, без сладкого замиранья сердца он никогда не приближался к женщине, которую хотел увидеть в своей постели. Перелистывая страницы, Влад как бы искал прореху, грех, который мог бы предъявить себе сам и который этой ночью поставит ему в вину совсем другой Судья. Один, пожалуй, случай внушал беспокойство: как-то раз Влад клялся и божился, что случайная негаданная близость не будет иметь последствий, и женщина уступила, а он не сдержался и не признался и, стало быть, обманул доверчивую. И спустя отведенный срок услышал, что та женщина, которую он больше никогда не видел и встречи с которой не искал, родила ребенка — то ли мальчика, то ли девочку. Тот случай запомнился, он был нечист, и это теперь беспокоило Влада.

А больше почти ничего и не вспоминалось, не всплывало. Десятки газетных командировок, поездок по всей стране, по ее дивным захолустным углам не хотелось восстанавливать в деталях: восторг открытия, однажды пережитый, не повторить. Тянь-Шань, где на переправе его смыло с седла горным потоком и он чудом спасся, набитая мошкой под завязку сибирская тайга, белые поля ледовитой Амдермы, заросшие зеленым лесным мехом Карпаты — все это, полустертое ветром времени, осталось валяться по обочинам пути, ведущего в тупик последней ночи.

Отчетливей всего в обозримом пространстве коричневел, взбираясь на плечо горы по левую сторону урочища Габдано, ваххабитский аул с украденной в Аравии книгой Авиценны — может, оттого, что эти неприступные места располагались неподалеку, куда ближе к Джуйским озерам, чем Амдерма во льду. Вон там спал, подстелив бурку, книголюб Джабраил у входа в родной аул, пораженный чумой, и красавица Патимат спускалась к нему певучей походкой по козьей тропе. Может, не на эти озера, а в Габдано, к черным старикам с серебряными бородами и длинными кинжалами следовало идти за смертью Владу Гордину? К недоверчивым старикам, живущим на своем каменном пяточке нездешней жизнью и в упор не

видящим никакой власти, кроме Высшей? Они, наверно, и умирают по-своему, на свой манер. Во всяком случае, кладбища не видно было в Габдано, как будто люди там напрямую переходят из этого мира в тот, другой. Идут, опираясь на свои зонтики, отпахивают калитку в сложенной из камней стене — и переходят. Никто им не может в этом помешать: ни майор КГБ в райцентре, ни Хрущев в Кремле. За свою немного странную свободу они готовы воевать, не зная сомнений, с целым светом.

Интересное место Габдано — но, в отличие от тех стариков, Влад Гордин сомневался во многом и считал это естественным проявлением жизни. Вспомнив аул и строгого потомка вороватого Джабраила, сидевшего на солдатской койке под саудовским календарем, Влад усомнился в том, что для перехода в иной мир Джуйские озера в чем-то уступают горному оплоту ваххабитов. Озера — место тоже вполне подходящее, и совершенное безлюдье соответствует приближающейся развязке. Меньше всего Владу хотелось бы, чтобы кто-то в туристской войлочной шляпе и с рюкзаком сюда сейчас явился и стал приставать с разговорами. Этого только не хватало... Но этого и не случилось.

В Москве лил летний дождь, стремительный и недолгий. Шустрые ручьи, подпрыгивая и спотыкаясь, добежали до сточных люков и проваливались без следа под асфальт. Ругаясь и смеясь, бежали люди, прикрывая головы портфелями и газетами. Ливень вызывал скорее восторг, чем досаду: ну хлещет, ну дают небеса!

В окне своего рабочего кабинета полковник Шумяков видел свинцовую под дождем Лубянскую площадь с фаллическим Дзержинским посередине. Мысли полковника витали вдалеке от чугунного рыцаря революции: дождь, разогнавший людей с площади, нес благодать полковничьему дачному огороду, на грядках которого томились от непогоды огурцы и помидоры, капуста и картошка. Воспоминания о даче и уже не запредельном, сразу же после выхода на пенсию, туда переезде всегда нежно трогали душу чекиста.

Дождь подоспел ко времени, да и день в целом складывался удачно. Результаты инспекционной командировки на Кавказ, в этот самый Эпчик, ни у кого на Лубянке не вызвали нареканий: сброс вождя договорено было характеризовать как диверсию одиночки и списать ее на уголовного бродягу Мусу, уже, возможно, и покойного. Дело о подпольном профсоюзе решили, на основании заключения специалистов-психиатров из Института Сербского, спустить на тормозах ввиду невменяемости фигурантов. И вклад полковника Шумякова во всю эту неприятную историю ограничивался служебной докладной запиской начальству, предупрежденному и согласному с выводами автора. Этот документ он и намеревался составить сегодня к обеду в окончательной редакции.

В составлении докладных полковник Шумяков был большим докой, его умение ставили в пример другим сотрудникам, не таким искусным. Перекладывая и сортируя бумажки по «Делу о нелегальном профсоюзе», полковник пришел к выводу, что расписывание роли Сергея Игнатъева, активного члена антисоветского кружка Петуховой и специалиста по ганзейской торговле, лишь замутит содержание записки, уведет руководство от существа дела. Игнатъевым должны заниматься другие офицеры, из другого отдела — вот пусть они им и занимаются. В туберкулезном учреждении «Самшитовая роща» этот Игнатъев, согласно донесениям осведомителя, не клеветал на культурно-просветительскую политику партии, а плел небылицы о каких-то древних монахах и зарытых кладах еврейского царя Соломона. И то, что он у Петуховой говорит, — это уже совсем другой разговор.

В другом отделе наводящие разъяснения Шумякова приняли с пониманием: да, конечно, Игнатъев — их объект, они всю группу держат под неослабным контролем. И ганзеец, как только он вернется в Москву, будет взят в усиленную разработку. А покамест имеет смысл для воспитательного устрашения провести беседу с кем-нибудь из петуховцев. Саму Петухову трогать не надо: она может с перепугу прикрыть свой кружок и таким образом лишить надзирающих офицеров ценного источника ин-

формации о настроениях в среде творческой интеллигенции, такой неустойчивой. Это уже не говоря о том, что в случае закрытия петуховского кружка ни в чем не повинных офицеров бросят на новый участок работы, который, вполне может случиться, окажется куда менее просвеченным и спокойным.

Мику Углича продуманно вызвали для беседы на Малую Лубянку — само название этой улицы наводило на обывателя ужас и трепет. Мика явился с медицинской справкой в руке, там было указано, что в случае эмоционального стресса предъявитель справки утрачивает дар речи. Надзирающие за кружком офицеры, числом три, искренне подивились богатству великого и могучего русского языка: вместо того чтобы написать «язык отнимается со страху», пишут «утрачивает дар речи». Подивившись, офицеры принялись орать и бить кулаками по столу, и перепуганный до полусмерти Мика Углич только дергался на своем стуле и неразборчиво вякал. Глаза его утратили судачье выражение и наполнились печалью. Офицеры, впрочем, не имели намерения переходить к активным действиям и молотить кулаками своего робкого собеседника: прямое применение силы по отношению к приглашенным на воспитательную беседу было недавно отменено.

После небольшого перерыва — офицеры, топая, вышли, гость остался один в комнате — дар речи вернулся к Мике Угличу, он выпил воды и прочистил горло. Офицеры тотчас снова появились и как ни в чем не бывало завели разговор о Сергее Игнатьеве: что да как, да коренной ли он москвич, да любит ли анекдоты рассказывать и слушать? Пример приведите, один или два. Вспомните, вспоминайте! А то ведь у нас время есть, можем тут и до завтра просидеть.

Мика старался вспомнить, путался и вздыхал. Недовольные офицеры покрикивали. Из-за наглухо закрытых и плотно занавешенных окон доносился уличный шум Малой Лубянки — свобода была рядом. Мика Углич вымученно гадал, что такого мог натворить Сережа Игнатьев в туберкулезном санатории, но спросить боялся.

Из офицерских расспросов и реплик следовало, что за вызывающее, антисоветское поведение Игнатьева несли ответственность и Лира Петухова, и все ее друзья-приятели, и прежде всего сам Мика, приглашенный сюда для беседы. Обвинение в антисоветчине и обещание продержаться на Лубянке до утра действовали на него угнетающе, он сердился на застрявшего где-то между этим проклятым Эпчиком и Москвой Сережу Игнатьева, отдуваться за которого теперь приходилось ему, Мике. А офицеры размахивали перед носом Мики Углича какой-то папкой и читали вслух отрывки из писем ганзейца Лире Петуховой, звучавшие в этом лубянском кабинете вполне зловеще.

Мученье закончилось так же внезапно, как и началось. Гостю вручили пропуск на выход, и он побрел по коридору на тряпичных ногах. Слова, сказанные напоследок, стояли колом в его ушах: «Мы вам собираться не запрещаем, но советуем запомнить: за антисоветские сборища вы будете наказаны по всей строгости нашего социалистического закона».

И прошел день над разноцветными, как в глазке калейдоскопа, Джуйскими озерами. Большую часть дня Влад Гордин провалился на своем мешке, поднимаясь лишь для того, чтобы похлебать озерной воды: после вчерашнего пьянства жажда его мучила. Полузабытье овладело его сознанием, мир вокруг себя он видел размытым, и это ему нравилось: смутная картина нигде не задерживала его взгляд и не останавливала внимания ни на чем. Да и собственные его чувства, скрытые в глубине то ли души, то ли неба, натянутого без единой морщинки над головой, были сглажены, и он испытывал странную благодарность к тому, кто это все так сегодня устроил. То, что должно было случиться ночью, словно бы уже наступило и произошло, Влад терпеливо искал в расширившемся до бесконечности поле зрения новые, незнакомые ему очертания, но не находил. Он ни о чем не сожалел и не желал оглядываться назад. Даже чувство вины перед той обманутой женщиной, родившей на свет незваного

ребенка, заметно померкло: обманутая осталась далеко позади, в другом мире, на другом свете. Бог с ней...

Ветерок угомонился, и комары нагрянули, как из прорехи. Влад, размахивая руками, сначала отгонял их, а потом бросил: что за разница, с каким лицом — бугристым от укусов этих тварей или гладким — переберется он через последнюю границу! Но оборонительные резкие взмахи и отвратительный писк насекомых вывели его из состояния приятного отчуждения. Немного раздраженный переменой настроения, он повернулся со спины на бок и подложил сведенные ладони под щеку. Назойливо зудели комары. Почти вплотную подошла лошадь с порожней торбой на шее и глядела. Можно было догадаться, что она хочет в обжитое стойло, домой. Это близкое присутствие стреноженной лошади, такое земное, было некстати и выбивалось из ряда, и Влад досадливо пожалел животное: оно-то тут при чем! Однако подниматься и распутывать лошади ноги даже и не подумал.

Вместе с темнотой пришло забытье, вязкое, как мед. В душистой темноте, совсем вблизи — рукой подать — Влад Гордин вначале уверенно почувствовал, а потом, не поворачивая головы, и увидел путника — рослого пришельца, праздно сидевшего на камне, неизвестно откуда здесь взявшемся. Пришелец молчал, горбя плечи. До Влада, казалось, ему не было никакого дела.

Третий сон Влада Гордина

— Я сплю? — спросил Влад. — Или меня нет?

— Спишь, спишь, Влад, — сказал неподвижно сидевший на камне. — Ночь — ты и спишь.

— А вас как зовут? — спросил Влад, почему-то уверенный, что разговор только завязывается и непременно будет иметь продолжение. — Вы кто?

— Час, — охотно ответил Неподвижный. — Твой час. Ты ведь меня звал, вот я и пришел... Лежи-лежи. Не вставай.

— Я вас давно жду, — сказал Влад, испытывая к Путнику чувство теплое, почти родственное.

— Давно, говоришь? — переспросил Путник, повернув к Владу узкое лицо, на котором в подбровных впадинах светились молодые глаза. — Что значит — «давно»? Объясни!

— Ну, может, дней пять, — предположил Влад без особой, впрочем, уверенности. — Или неделю.

— Может, всю жизнь? — поинтересовался Путник. — Это тоже давно?

— Я не знаю... — доверчиво признался Влад.

— Тогда, значит, мы говорим о разных вещах, — сказал Путник, поворачиваясь к Владу всем своим плавным корпусом. — Жизнь бывает долгая или короткая. Чем старше становится человек, тем короче ему представляется его жизнь — и прожитая, и оставшаяся. А в молодые годы, вот как у тебя, каждый год жизни кажется долгим и медленным, медлительным, и хочется поторопить время, чтобы заглянуть, что там — впереди.

— Значит, — спросил Влад, — «давно» тут никак не подходит?

— Никак, — подтвердил Путник. — Давно — это не «от» и «до», это куда шире. Попробуй, измерь — ничего у тебя не получится!

— А жизнь — моя, например — короткая? — с опаской осведомился Влад.

— С воробьиный носок, — убежденно сказал Путник.

— А ваша? — тихонько спросил Влад, жарко желая узнать ответ и в то же время надеясь, что ночной собеседник не расслышит вопрос, звучавший дерзко. Но сидевший на камне расслышал.

— А вот я, можно сказать, появился давно, — ответил Путник. — Но зачем тебе это?

— Да так... — промямлил в ответ Влад, мучительно пытаясь определить, спит ли он, или этот Путник явился к нему наяву. — А вы за мной пришли?

— К тебе. — Путник выпростал руку из-под накидки, в которую кутался, и направил ее в сторону Влада, выставив указательный палец стволом.

— Ну, это-то все равно, — заметил Влад.

— Нет, — снова убирая руку, сказал Путник, — не все равно. Ты решил и назначил себе приход смерти на эту ночь. Неосмотрительное, молодой человек, решение! Назначив и решив, ты вторгся в чужую область. Там на счетах с абрикосовыми косточками щелкают совсем другие пальцы — не твои.

— Я и не говорю... — то ли пробормотал, то ли подумал Влад. — Просто я знаю, чувствую. Вот поэтому...

— Ты решил, — с вежливой улыбкой повторил Путник, — ты знаешь... Ничего ты не знаешь, потому что твое знание не распространяется дальше сегодняшнего дня. Подумай сам!

— Но тогда во всем мире никто ничего не знает, — вяло возразил Влад Гордин. — Ни Галилей, ни Эйнштейн, ни даже Иисус Христос.

— Знания линияют, — не отвлекаясь на возражение ночной визитер, — а чувства выветриваются. Ты гадаешь, испытываешь будущее, которое еще не наступило и не стало прошедшим. Может, ты угадал, а может, ошибаешься. Все может случиться в будущем, которым человек не владеет ни на шаг.

— Чем же он тогда владеет? — спросил Влад.

— Прошлым, — ответил Путник. — Только прошлым, больше ничем. В прошлом ты можешь двигать фишки, как тебе вздумается, по своему разумению и для собственного удовольствия. Прошлое — твой дом, там ты хозяин!

— Но тогда все нарушится! — возмутился Влад. — Ведь если что-то уже произошло — так навсегда.

— А чему мешают такие перестановки? — Путник вновь высвободил руку, теперь его палец был нацелен вверх, в темное небо. — Что они могут изменить? А словом «навсегда» пользуются только дураки: люди знать не знают, что случится в будущем через час-другой. Некоторые еще говорят — «навечно». Просто уши вянут слушать!

— А настоящее? — еле шевеля губами, спросил Влад.

— А настоящее, — сказал Путник, — это пограничная линия, шов между прошлым и будущим. Тропа шириной в ладонь. Справа обрыв, слева стена. Вот и танцуй как умешь.

Влад взгляделся и увидел невдалеке памирскую тропу, лошадь на тропе и себя в седле той лошади. Справа голубела пропасть с рекою на далеком дне, слева отвесно уходила вверх каменная стена, исчерченная трещинами. Лошадь, потерявшая подкову с задней правой ноги, прижимала уши от страха и ступала сторожко. На коротком спуске она, не споткнувшись, рывком вытянула шею, накренилась и ушла в обрыв. Влад успел выдернуть ноги из стремян и, уже падая, переваливаясь через край тропы, намертво вцепился в искривленный обломок арчи, вгрызшейся корнями в каменистую землю. Лошадь ушла, Влад остался. Он запомнил обрушившуюся на него мертвую тишину, темную синеву неба над головой и время, растянувшееся, как резиновая нить. Потом он ползком выбрался на тропу, поднялся на ноги, и мир вернулся к прежнему состоянию.

Разлепив веки, опухшие от укусов, Влад огляделся. Не было ни тропы, ни арчи над пропастью, а Путник в пред-рассветной темени казался наверху камня, на котором сидел.

— А это правда, что перед смертью человек видит картины из прошедшей жизни? — спросил Влад.

Путник молчал.

— Так люди говорят... — пояснил Влад.

— Ты занялся не своим делом и ошибся в расчетах, — сказал Путник. — Ночь прошла, светает. Хочешь есть?

— Очень, — подумав, признался Влад.

— Вставай и иди вниз, — приказал Путник.

Первый луч солнца выстрелил из-за горы и осветил берег озера. Человека на камне не было, и не было камня. Вслед за первым лучом тысячи светлых стрел прилетели, и наступил день.

Влад поднялся на ноги, взнуздal лошадь и, намотав повод на руку, зашагал вниз по тропе.

В санатории «Самшитовая роща» наступил послеобеденный тихий час. Дорожки парка были безлюдны. Время цикад еще не пришло.

Регистраторша Регина уставилась на Влада Гордина, на его раздувшееся лицо сочувственно.

— А вас выписали, — сообщила Регина. — За нарушение санаторного режима. Вещички ваши возьмите в камере хранения, там сейчас открыто. И на рентген сходите — вам снимочек обязательно нужен для диспансера.

В рентгеновском отделении было пусто. Старик рентгенолог в мятом халате с любопытством оглядел Влада, спросил:

— Где это тебя так отделали? Подрался, что ли? И грязный весь! Сними рубашку, встань вот сюда и не двигайся.

Экран приятно охлаждал грудь. Влад стоял, задержав дыхание.

— Тебя тут обыскались, — щелкая какими-то рычагами за спиной Влада, сказал рентгенолог. — Думали, домой уехал без выписки... Готово, дыши! Одевайся и подожди снаружи.

Влад вышел из кабинета и сел на деревянную лавку у двери. Зачем ему этот снимочек, зачем выписка? Но он не испытывал неприязни к рентгенологу.

— Зайди-ка, Гордин! — услышал он голос из кабинета и поднялся с лавки. — Там перед тобой никого не было? А? Ты уверен?

— Уверен, — с безразличием пожал плечами Влад Гордин. — Никого не было.

— Странно, странно... — повторял рентгенолог, подозрительно глядя то на Влада, то — на просвет — на мокрый рентгено снимок. — Становись снова, сделаем повторный.

Стоя у экрана, лицом к стене, Влад усмехнулся в темноте кабинета: ну что ж, хватанем еще дозу рентгена, хуже все равно не будет.

— Не дыши! — сказал рентгенолог. — Готово... Посиди снаружи.

Сидя на белой врачебной лавке, Влад Гордин испытывал порывом ветра налетевшую тревогу. Что он там такое нашел на рентгене, этот старик? Он даже подумал, что снимок — чужой, что он кого-то другого просвечивал, не Влада. Может, туберкулома уже взорвалась и от легкого осталась одна сморщенная серая тряпка?

— Заходи! — услышал Влад Гордин.

Старик рентгенолог сидел за столом, держа лоснящийся темный снимок над стеклянной, подсвеченной снизу столешницей. Вид у него был торжественно-озадаченный.

— Твоя туберкулома рассасывается, — сказал старик. — Случай уникальный! Ты, можно сказать, родился под счастливой звездой. Теперь пойдешь на поправку.

Миновав узорчатые ворота санатория, Влад Гордин взвалил на плечо свой чемодан и зашагал к автобусной остановке. До автобуса оставалось еще минут пятнадцать.

Маркиш Д.
М25 Тубплиер: Роман / Давид Маркиш. — М.: Текст, 2012. — 221[3] с.

ISBN 978-5-7516-1030-2

Шестидесятые годы прошлого века, Кавказ, те места, куда через сорок лет на смену дружбе народов придет затяжная война. Московский журналист Влад Гордин вынужден отправиться на лечение в туберкулезный санаторий «Самшитовая роща». Старожилы санатория и приехавший новичок в шутку основывают орден тубплиеров. Членов ордена связывает «незримая цепь Коха», и лишь среди равных, в кругу своих, они наконец могут свободно мыслить и любить. Между тем в одно время с тубплиерами горцы объединяются для заговора посерьезнее...

Давид Маркиш (род. 1938) — известный израильский прозаик, лауреат нескольких литературных премий.

УДК 821.161.1-31

ББК 84(5Изр)

Серия
ОТКРЫТАЯ КНИГА

Давид Маркиш
ТУБПЛИЕР
Роман

Редактор А. Бурьяк
Корректор Н. Пушина

Подписано в печать 24.01.12. Формат 84 x 108/32.
Усл. печ. л. 11,76. Уч.-изд. л. 11,24.
Тираж 1500 экз. Изд. № 1075
Заказ № 7968.

Издательство «Текст»
127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7
Тел./факс: (499)150-04-82
E-mail: text@textpubl.ru
<http://www.textpubl.ru>
Представитель в Санкт-Петербурге: (812)312-52-63

Отпечатано в ОАО
«Тверской полиграфический комбинат»
170024 г. Тверь, пр-т Ленина, д.5
Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34.
Тел./факс: (4822) 44-42-15
www.tverpk.ru
Электронная почта: sales@tverpk.ru



**КНИГИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
«ТЕКСТ»**

Оптовая и розничная торговля:
127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, 7
Тел./факс: (499) 156-42-02

Торговый представитель в СПб.
Тел.: (812) 312-52-63

**В Москве книги «Текста»
можно купить в магазинах:**

Дом книги «Молодая гвардия»
Большая Полянка, 28

Московский дом книги
Новый Арбат, 8

Торговый дом «Библио-Глобус»
Мясницкая, 6

Торговый дом книги «Москва»
Тверская, 8

«Фаланстер»
Малый Гнездниковский пер., 12/27, стр. 3

Продажа книг через Интернет:
www.ozon.ru
www.labyrinth-shop.ru

Шестидесятые годы прошлого века, Кавказ, те места, куда через сорок лет на смену дружбе народов придет затяжная война. Московский журналист Влад Гордин вынужден отправиться на лечение в туберкулезный санаторий «Самшитовая роща». Старожилы санатория и приехавший новичок в шутку основывают орден тубплиеров. Членов ордена связывает «незримая цепь Коха», и лишь среди равных, в кругу своих они наконец могут свободно мыслить и любить. Между тем, в одно время с тубплиерами горцы объединяются — для заговора посерьезнее...

Давид Маркиш — мастер современной прозы, лауреат нескольких литературных премий. Родился в Москве, в 1972 году переехал в Израиль, живет в городе Ор-Иегуда, близ Тель-Авива.

ТЕКСТ



17094